

А Л Е К С А Н Д Р В У Л И Н

# К Р А С О Т А



Александр Вулин

# **Красота**

«Алетейя»

2017

УДК 821.163.41  
ББК 84(4Юго.Сер)6-44

**Вулин А.**

Красота / А. Вулин — «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906980-53-3

Мощный и яркий исторический балканский роман с тщательно разработанным метафорическим кодом в духе полюбившегося русскому читателю «Хазарского словаря» Милорада Павича, но абсолютно оригинальный по авторскому заданию и сюжетным решениям. События происходят на фоне захвата и разграбления крестоносцами Константинополя, крушения Византии и усиления влияния Венеции и католического Рима в Восточном Средиземноморье и сербских землях, переживающих острый кризис борьбы за власть. Красота раскрывается как ряд драматических и экзистенциальных проблем, не имеющих однозначного и окончательного решения.

УДК 821.163.41

ББК 84(4Юго.Сер)6-44

ISBN 978-5-906980-53-3

© Вулин А., 2017

© Алетейя, 2017

# Содержание

1	5
2	23
3	42
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Александр Вулин Красота

## 1



Зло готовилось. Зло затаилось и выжидало. Злом оно называлось не потому, что оборонявшие стены царского града защитники добра всегда на стороне истины и правды, а захватчики – несправедливы и лживы, а потому, что только Зло способно бесконечно выжидать, способно, затаившись, ожидать своего часа и терпеть, а потом нагрянуть лавиной, ломая стены и стирая границы. Зло выжидало и готовилось, хотя те, кто выступал на его стороне, не были злыми и жестокими. Впрочем и те, которые сейчас, застыв в растерянности и страхе, стояли на массивных тысячелетних стенах, совсем не считали, что воюют они во имя Добра. И нападающие и защищающиеся были людьми, а там, где люди – не может не быть зла, просто потому, у каждого свои представления о добре, которое они несут. Тем не менее, Зло готовилось. Зло затаилось и выжидало.

На широкой внешней 22-километровой «стене Феодосия», окружавшей столицу Ромейского царства, в верхней части восьмиугольной надвратной башни (укрепленные ворота, одни из пятидесяти, охранялись малочисленной стражей), над пустым заброшенным рвом молча стоял, кутаясь в длинную теплую мантию Алексей V Дука Мурзуфл. На лице умудренного жизнью генерала отразились годы, проведенные в борьбе за сохранение милости разных, но одинаково непредсказуемых правителей Византии: его черты заострились из-за бесконечных чужих и собственных интриг, нежная когда-то кожа потемнела и стала грубой, а в короткой, аккуратно подстриженной бороде густо белела седина. Он ждал, что откуда-то появится знание – большее, чем его собственное. Он надеялся, что это знание придаст ему силы и освободит от сомнений и ответственности.

Высокий, сутулый, он прижимал к груди мягкую ткань плаща, сжимая ее беспокойными, неуверенными влажными ладонями, словно сомневался, что тяжелая фибула, украшенная драгоценными, темными как кровь камнями, может удержать плащ.

Густые брови его нависли низко, скрывая отчаяние от находящихся рядом солдат и офицеров, делающих вид, что они бдительно следят за тем, что происходит за стеной. На самом же деле их взоры были обращены к нему, как и их мысли – они пытались найти в темных зеницах императора если не спасение, то хотя бы искру, которая значила бы даже больше, чем надежда. Искру решительности. Как это обычно бывает во времена неуверенные и полные сомнений, простые смертные ищут в других доблесть и силу, которых не находят в себе, наивно полагая, что люди, представляющие власть и могущество, обладают тем, чего нет в среде простонародья. Пристально вглядываясь во мрак и неизвестность перед собой, Алексей V Дука Мурзуфл пытался оценить возможности нападавших: их количество и их снаряжение, и при этом невольно двигал густыми бровями, которые гасили блеск черных глаз, осторожных и быстрых, несмотря на усталость. Он, по старой привычке, ожидал приказа.

Внизу во тьме, почти подступая к стенам города, но все же вне досягаемости стрелков и катапулт, натканых по оборонительным узлам и башням, горели костры войска крестоносцев, давая возможность увидеть, насколько далеко простирается их лагерь: город из тридцати пяти тысяч людей и четырех тысяч коней, с сопровождающими их бесчисленными свирепыми псами, учеными алхимиками, ремесленниками, торговцами, ворами, проститутками и знахарями. Лагерь набожных паломников, насильников, бездельников, идеалистов-безумцев без роду и племени и высокородных аристократов с землей и титулом, вероотступников, раскольников и еретиков, беглых должников и ростовщиков, верующих и безбожников, пехотинцев с тупыми кусками металла, называемым оружием, конных рыцарей в тяжелых и дорогих доспехах – они собрались ныне, чтобы разрушить миф о незыблемости великого государства, хранившего память о славе и величии первого Рима. Они объединились, чтобы раздавить и похоронить в прахе забвения легенду о том, что сама Богородица является защитницей богатого дивного града Константина. Но прежде всего они хотели обогреть и одеть свое тело, накормить его и напоить, хотели разбогатеть и подняться со дна жизни, а для этого нужно было всего лишь ограбить христианскую столицу: город, который олицетворял роскошь, который строился веками, вбирая и накапливая в себя знания и богатства этого мира.

Оторвав взгляд от дрожащего марева лагерных костров, не сказавших ему ничего нового и полезного, генерал-император опустил глаза, и, желая скрыть свою нерешительность и беспомощность, уставился на свои кожаные, пурпурно-красные сапоги с высокими голенищами. Реющие над его головой знамена ромейских императоров поддерживали его, но даже они ничего не могли поделать с его испугом: его пугало то, что вся тяжесть решения лежит только на нем одном и приказа он ждет напрасно, потому что здесь именно он отдает приказы.

Вот уже три месяца прошло с того момента, как Цареградская толпа провозгласила его императором, не спрашивая ни его, хочет ли он, ни себя, является ли этот выбор мудрым и правильным. Толпе достаточно было уже того, что она может это делать, и она наслаждалась своими новыми возможностями. Гнев ромеев запылал холодной январской ночью: его зажег огонь городских пожаров, которые устроили взбешенные крестоносцы, так и не получившие обещанных денег и земли, и поэтому жаждавшие насилия.

Все началось тогда, когда дерзким и недовольным крестоносцам стало ясно, что щедрые посулы, взамен на услуги по возвращению на престол свергнутого Исаака II Ангела и его сына Алексея IV Ангела, оказались ложными. В ожидании обещанного, воины Христа с жадными глазами людей, прибывших из далеких грязных селений, с северных гор и морей, с далеких западных границ мира, кидали оценивающие взоры на пышное изобилие вечного города и требовали – все нетерпеливее и громче – выплаты невероятно огромной денежной суммы, требовали передачи в их руки кораблей, еды, коней и людей для далекого и опасного пути в

Святую землю. Жаждающие золота рыцари шлялись по городу, которым правил их ставленник – хотя, если посмотреть пристальнее, скорее их заложник – и отбирали у горожан все, что им обещал император.

Крестоносцы, собранные папской буллой со всех концов христианской Европы и вооруженные паломники, добровольно отправившиеся на борьбу с арабами и мусульманами, о которых не знали абсолютно ничего, наткнулись в хитросплетениях цареградских улиц на небольшую заброшенную, практически не использовавшуюся мечеть. Ее построили когда-то для нужд давно забытого арабского посольства, от которого тогдашние правители ожидали многого, поэтому пошли на такую щедрость – предоставили им место для моления, показывая уважение к законам и обычаям, по которым жили прибывшие издалека гости. Невежды в правилах дипломатического мира, чересчур грубые и дикие для того, чтобы понимать правила дипломатии, позволяющие не применяя силу получить все, что нужно, крестоносцы сожгли мечеть, выкрикивая над пламенем, что этого хочет Бог и что они наконец очистили христианский город от этого зла, хотя на самом деле это было очень скромное и незначительное здание. Даже не здание, а безобидное напоминание о вере Пророка.

Огонь, вспыхнувший на узких улочках вокруг мечети, глотал все не разбирая, мусульманское ли это место для молитвы или чье-то ветхое жильё. А крестоносцы и не думали гасить огонь.

Поджигая здания, они, лелея в себе бунт, подбрасывали дрова в огонь неугасимой ненависти между восточными и западными христианами Ночи, освещенные огнем, бушующим в портовых складах, огнем, который размеренно и уверенно подбирался к ближайшему к порту кварталу, на лица ромеев наложили угрюмую тень. Рыцари теперь развлекались каждую ночь, поджигая дома и наслаждаясь огненным светом и чувством безнаказанности и мощи.

Первые искры пожара, устроенного из злости, скуки, разнузданности и вседозволенности, едва не уничтожили столицу древнего царства. Полыхнули они где-то в районе церкви Агарена, в народе известной как Митатон. Затем огонь, словно имеющий свою волю и водимый рукой, равновелико одаренной как злобой, так и умом, разлился по всему городу. Пламя, унесенное северным ветром и вновь возвращенное на пожарище ветром южным, вызвало некую inferнальную силу, которая требовала жертв, требовала огня, требовала уничтожения и хаоса.

Пламя это начало прокладывать себе дорогу к сердцу города: с берега Золотого рога к собору Святой Софии. Под его атакой с громким жалобным всхлипом упала западная стена Ипподрома – самого большого сооружения в подлунном мире. Огонь тогда пировал восемь дней и ушел, оставив униженный, почерневший от горя израненный город, у которого не было даже сил зализывать свои шрамы.

Жители Константинополя в отчаянье и гневности восстали против поджигателей и захватчиков – им было нечего терять, их было много, и они надеялись на легкую победу, которая должна была упасть им в руки как доверчивая влюбленная, или, скорее, как легкодоступная публичная женщина, к которым они привыкли.

После короткого, стихийного, никем не управляемого нападения – восстания отчаянных, без плана и стратегии, некоторое число крестоносцев было убито, а выжившие рыцари беспорядочно бежали из города, спасаясь от возмущенной толпы. Тела убитых, еще недавно шагавших по Константинополю хозяевами, перемолотые ненавистью восставших, теперь валялись в грязи и пыли. В течение нескольких дней трупы таскали по форумам и площадям. Обезображенные, они принимали на себя всю силу посмертного унижения, всю силу справедливого и заслуженного гнева толпы, ставшего в этот момент несправедливым и греховным. Жадные и гордые латинские головы отделялись от тел голыми руками с твердыми от ярости пальцами, силу придавала злоба, и она была опаснее и страшнее длинных мечей крестоносцев.

Отрубленные головы носили по церквям и домам, как доказательство победы. Кровавые горячие черепа с выдавленными глазами и сломанными челюстями привязывались к ослиным хвостам, а толпа – старики, дети и каждый, кто мог видеть и слышать, ходить или хромать, – бежала наперегонки, чтобы посмотреть в остекленевшие, полные смертельного ужаса глаза трупов северян, чтобы выругаться, чтобы пнуть, чтобы плюнуть в них под громкий одобрителный смех.

Войдя во вкус и мстя за пережитые страхи, унижения и страдания, все, что испытывали с того момента, как крестоносцы вошли в город, граждане столицы православного мира, пьяные от быстрой головокружительной победы, свергли и жалкого подхалима, ставленника крестоносцев, заискивающего перед ними – лживого, трусливого и слабого неудачника – императора Алексея IV Ангела. Они заперли его вместе со слепым сумасшедшим отцом его Исааком II Ангелом в темнице царской палаты Влахерон.

И тогда, не привыкшие к вкусу свободы, которую никто теперь не ограничивал, никем не управляемые, ромеи испугались самих себя. Страхась ответственности, которую несет отсутствие власти, которую прежде презирали и которую научились подкупать, но привыкли и слушать, они начали размышлять, кому передать престол. Имя Мурзуфула вырвалось из массы почти случайно – благородная кровь, настоящий ромей, зять императора, боевой генерал. Толпа выкрикнула имя нового правителя и, показывая свою страстную любовь к нему, вернула в пурпур, подняла на щит, вручила ему знамена, запрягла его коня в золотую упряжь, поднесла скипетр и корону и отнесла на руках в собор Святой Софии, хотя в любой миг была готова и разорвать и его, если вдруг какой-то голос крикнул бы, что так надо. В любой момент толпа была готова распять его и вспороть брюхо, была готова волочить по улицам и смеяться над ним громким истерическим *смехом*, как смеялась над его предшественником, ослепленным и несколько раз свергнутым императором Исааком II, когда он ехал, посаженный задом наперед на паршивом верблюде, одетый не в пурпур, а в ночную рубашку, беспомощный и потерянный, изгнанный из царских палат, а потом брошенный в темницу. Слепое лицо свергнутого императора Исаака, виноватого в том, что нога крестоносца ступила за священные стены Константинополя, раздражало ликовавшую толпу.

Лицо его, искаженное в гримасе, в то время как слабоумный старик, держась за верблюжий горб громко плакал, дрожа и пуская слюну, заводило глумящуюся над ним толпу. Их смешило и злило все: и то, что с его обвисших губ бедного сумасшедшего капала слюна, и бессвязные нечеловеческие звуки, которые он издавал, не понимая почему его посадили на скотину и куда его везут. Он обезумел от восьмилетнего заточения, но еще больше от краткосрочной и неожиданной свободы. В возбужденной и разгоряченной толпе можно было узнать лица тех, кто лет десять тому назад собирался перед собором Святой Софии, где нашел укрытие тогда еще не император, а просто Исаак Ангел, сумевший избежать коварных смертельных планов родственника – императора Андроника I Комнина, с нетерпением ожидавшего, когда ему принесут труп Исаака.

Граждане Константинополя, вечно истеричные, склонные то к мятежам, то к празднествам, тронутые тогда судьбой преследуемого аристократа, подарили ему императорский титул и помогли омыть руки, испачканные кровью брата и врага, а спустя годы они же – эти злые капризные дети, унизили и закидали грязью своего бывшего фаворита. Унизили, ведомые все той же потребностью возвеличивать и низвергать своих правителей.

После того странного дня, который вознес его на престол, прошло уже три месяца. Где бы Мурзуфл ни появлялся, к нему подходили люди и, подчиняясь закону и порядку, установленному для каждого положения и для каждого достоинства, падали перед ним ниц, подражая восточным подданным, живущим при правителе, или низко кланялись, называя его *басилевсом*.

Императорская корона законного вселенского правителя христиан – защитника православной веры, наследника равноапостольного Константина Великого, преемника Римской империи, правителя ромеев, наместника Христа на земле, – непрочно держалась на круглой, мягкой голове протовестиария, это был первый чин Мурзуфла, полученный им до того, как ему присвоили императорский титул, тем самым создав из него нового императора – Алексея V Дука. Жизнь нового, на скорую руку выбранного императора, сопровождали мощь и богатство, но титул правителя, к которому он когда-то тайно стремился, не принес теперь никакой радости, поскольку оказался полученным слишком поздно и не к месту. В молодости Мурзуфла привлекала военная карьера и походы, в которых он участвовал, они дали ему право думать о себе как о военном, который может рассчитывать на успех. Зрелые годы принесли ему понимание, что только комфорт и милость правителя делают его по-настоящему счастливым. Брак с дочерью императора Алексея III Ангела Евдокией, бывшей женой сербского жупана Стефана, сына Немани, не считался большой честью, но все же был знаком того, что светлейший базилевс ему доверяет и на него рассчитывает. Венчание с женщиной из императорской семьи, хотя и отпущенной из предыдущего брака, вопреки многочисленным насмешливым или, как думал Мурзуфл, завистливым речам и взглядам, повлияло на его положение: его звезда на небосклоне столицы взошла и засияла.

Мурзуфл не был человеком великих и славных дел. Он был доволен собой и укладом своей жизни, привержен закону и порядку от Бога и надеялся, что его ожидают долгие солнечные годы, наполненные бездействием и беззаботностью, у него не было особых потребности приумножать любой ценой свою мощь, успех и славу. Возможно, что придворный генерал и императорский зять Мурзуфл так бы и закончил мирно свою жизнь, если бы насмешливая и нечувствительная к человеческим желаниям и надеждам судьба не взяла дело в свои руки и не начала играть с ним от скуки или просто из-за прихотливой злой своей пакости.

Его тесть-император, коварный и недобрый человек, получил власть после того, как вылил кипящий уксус в глаза старшего брата Исаака II Ангела. В холодных горах Болгарии, в 1195 году, во время одного, почти успешного военного похода, Алексей стоял над поверженным братом своим, императором Исааком, ухмыляющийся и счастливый, пьяный от сознания, что все его интриги увенчались победой и одновременно дрожащий от отвращения. Он наблюдал, как его немые слуги аккуратно и со знанием дела вонзали в окровавленные глазницы жертвы раскаленное железо, а потом лили уксус, тщательно выжигая остатки глаз. Так, без чести и славы добыв себе пурпур, правил он, окруженный откровенным страхом и скрытым презрением.

С трона Константина Великого он сошел также бесславно, сбежал из города, объятого пламенем, бросив армию и народ, не дожидаясь исхода отчаянной и жестокой борьбы с захватчиками и больше беспокоясь о своей запущенной подагре, чем о том, что о нем скажут подданные и история. Крах императора – выжигателя глаз – начался 17 июля 1203 года, когда латиняне, твердо решившие взять город, впервые появились перед Золотыми воротами. Они несли белые знамена с монограммой Христа и вели перед собой сына свергнутого и ослепленного императора Исаака, Алексея IV Ангела, оправдывая этим свое нападение на христиан, что, впрочем, выглядело смешно и жалко.

Армия крестоносцев, не вполне уверенная, что имеет моральное право напасть на город, но вполне уверенная в своем желании победить и покорить великую столицу империи, прикрываясь чувством справедливости, выкрикивала имена законных, Богом избранных правителей – отца и сына. Страшась мести родственников и крестоносцев, чья клокочущая масса уже перелилась через Золотой рог и заполнила порт, император Алексей III сбежал в заранее подготовленном корабле, захватив с собой все самое дорогое: дочь Анну, придворных евнухов, туповатых императорских убийц и государственную казну. Вместе с казной беглец отнял и последнюю надежду у нового императора – соперника и наследника Алексея IV, который

намеревался выплатить из государственных денег обещанную крестоносцам награду за свое возвращение на престол.

Трусливый побег и увезенное золото императором-беглецом обрекли временного победителя на верную гибель и позор. Сбежав от армии крестоносцев, император Алексей III потерял не только честь и город, которым правил, но и жену Ефросинию с дочками Ириной и Евдокией – в панике, охватившей его, он думал только о себе. Удары судьбы зять императора Мурзуфл принимал тихо и покорно, без излишнего волнения, без мыслей о бунте и сопротивлении. Он старался не искушать судьбу, как это обычно бывает с людьми, которые проводят жизнь, управляемые чужой волей, или с теми, кто из-за недалекого ума и недостатка уверенности любое зло принимает с благодарностью, только бы не было еще хуже. Оставшись без защиты тестя, он продолжил жить, как будто ничего не произошло и, не колеблясь и не испытывая чувства вины, принял новых правителей. И так тихо бы и текла его жизнь, если бы неожиданно для него самого его не провозгласили императором и правителем Ромеи.

И вот, новый император Алексей V Дука Мурзуфл, осторожно ступая в свои высоких новых и тесных сапогах, шел по крепостной стене в сопровождении городского епарха – отважного, но медлительного, неспособного и бесполезного человека из старинного благородного рода Ласкарис, воспитавшего в потомке гордость, внушившего знания о церемониале и военной стратегии, благочестие и преданность, но не способность к быстрым действиям и противостоянию тем, кто был хитрее и коварнее его. В шароварах, подвязанных золотым поясом, который неприлично и неудобно стягивал живот, в одежде, не достойной его положения, но необходимой для верховой езды и надетой для того, чтобы хоть отдаленно соответствовать образу военного, император неуверенным шагом спускался по скользким каменным ступеням и больше всего боялся споткнуться и вызвать смех.

Насмешек Мурзуфл и как генерал, и как аристократ, и как зять, а и как император, очень боялся. Насмешек и презрения подданных, поскольку самое ядовитое презрение – это презрение слабаков и трусов, последних эгоистов и невежд. Но как только он – Алексей V Дука сел на коня, как только тронул рукой позолоченные вожжи, чувствуя, как послушно отзывается на их движение лощенный ухоженный вороной, он уже был уверен в себе. Он уже знал, что делать. Он уже успел убедить себя, что он – избранный Богом и народом правитель и что Господь не откажет ему в помощи в борьбе с неприятелем. И уверенно утвердившись на мощной лошадиной спине, он направился к центру города. Своего города, нового Рима, второго Рима и отныне единственного. С самого его сердце.

Окруженный верными и хладнокровными славянскими наемниками, успокоенный лязгом их доспехов и длиной их копий, прижатых к закованным в кожу и металл бедрам, император чувствовал себя надежно и уверенно. Императорская свита бодро продвигаясь по широким, мощеным темным улицам, мимо жилищ, обложенных неровным крошащимся кирпичом, с едва видимыми остатками украшений и мозаик на фасадах. Она неслась мимо, едва удостаивая взглядом эти дома – ветхое напоминание о славных днях, может и не самых лучших, но, безусловно, более счастливых. О днях, когда в жилищах этих жили люди храбрые и веселые, а ныне лишь жалкие их тени, провожающие свиту настороженными, покрасневшими от бессонницы безнадежными взглядами. Вслед за ударами подков, за хвостами коней придворной знати и наемников, за императором, одинокой пурпурной фигурой в плаще который смели носить только миропомазанные правители Ромейского царства, за черными спинами дворцовой стражи, которая окружала его стеной, за несшейся кавалькадой власти широкой лентой вился страх.

Холод – хотя та апрельская ночь была теплой – беспрепятственно проникал под одежду и под крыши домов. Монастыри и церкви, с открытыми воротами, роскошно – в другие времена сказали бы расточительно – освещенные кадилами и свечами, были полны заплаканных женщин и детей, усерднее молившихся о спасении города и своих грешных смертных телах,

чем о вечном покое бессмертных душ. Мужские голоса певчих из церкви Богородицы Сигмы и Студитского монастыря, из церкви Святого Мокия и монастыря Святого Маманта были недостаточно глубоки и погружены в молитвенные песнопения, в них не было убежденности и уверенности в возможность близкого спасения.

Мурзуфл скакал по улицам, прислушиваясь к звукам города, так много видевшего на своем веку. Он сгибался под грузом императорских драгоценностей и сутулился под тяжестью мягкого пурпурного плаща: гнет его высокого положения был для него невыносим. Это было наказание – чрезмерное и незаслуженное, свалившееся на него в недобрый час. Город не спал. В просторных античных портиках богатых домов собиралась прислуга, тихо и торопливо она прятала сокровища своих хозяев, которые под покровом ночи, вопреки императорскому приказу оставаться в домах— спешно покидали город. Богачи и аристократы, уверенные в своих грехах и потому не уверенные в Божьей помощи, сомневающиеся в словах басилевса и патриарха о неперемной и окончательной победе христианского оружия над западными варварами, предателями учения Христа и их папскими слугами, унеся с собой имущество и веру. Как всегда, они не были готовы разделить бедность и стыд с теми, кому были обязаны честью и богатством.

Перед глазами императора и его свиты, приближающимся к внутренним стенам Константинополя, мелькали церкви и монастыри, обновленные и разрушенные во время сражений иконокластов и иконодулов; общественные бани, где благочестивые братства мыли и кормили больных-здания, которые были построены при церквях в годы их славы ныне, во времена упадка, опустели, и из года в год, из-за небрежности и всеобщего обнищания, они совсем обветшали; совсем уже малочисленные больницы для душевнобольных и прокаженных, в которых богобоязненные праведники ухаживали за больными и подражали Христу; цистерна Святого Мокия и рядом – акведук, работающий, несмотря на все усилия, с переменным успехом. Стража, заранее предупрежденные о появлении правителя, широко открыла Золотые ворота на въезде во внутреннюю часть города и высоко подняла факелы, освещая свиту и невольно заставляя императора, чьи глаза и без того узкие от тревоги и страха, совсем их закрыть, спрятать под густыми, с проседью, бровями – бесформенными и растрепанными, похожими на усы. Поборов сомнения и страх, Алексей V сейчас думал об одном: выдержит ли город еще один натиск.

Наглые нетерпеливые крестоносцы днем раньше атаковали городские стены так уверенно, как будто город был пустым. Выкрикивая имя Христа, в своих белых плащах с вышитым крестом – символом четвертого похода на Иерусалим, они рьяно нападали на город, но ценой огромных усилий их удалось все же отбросить от плохо укрепленных, но яростно защищаемых фортов. И они отступили в гневе и ярости. Но несмотря на передышку, несмотря на то, что сердце радовал вид ковыляющих рыцарей – цвета западного мира, искореженных стальных доспехов, алых от крови, несмотря на все это, страх в умах и душах, в теле и глазах ромеев не исчезал – он рос, унижая их, становясь их ярмом, залогом их поражения. Страх захватил город.

Добытая силой ярости и отчаяния победа на крепостной стене не имела цели. Она не сделала защитников города сильнее. Она не дала надежду. Она не принесла веру в возможную победу. Как и любое человеческое действие, которое совершается без уверенности в причине и цели, победа – шаткая, неустойчивая, без героя, которому могла быть приписана и дарована – не родила ничего, кроме тоскливого пониманию того, что это— конец. Возле церкви Святых Апостолов, там, где в тринадцатой могиле лежал равноапостольный Константин, и напротив Форума Аркадия и Форума Бовис, и далее – в кварталах Модиион и Форум Таури, и возле переполненной церкви Богородицы Диакониссы, и возле церкви Святого Агарона и церкви Святого Архангела Михаила, возле порта Феодосия и возле домов и улиц, возле порта Юлиана, разоренного еще в 1203 году во время первого нападения крестоносцев и вплоть до овального Форума Константина, вымощенного мрамором, на котором возвышался огромная колонна из шести порфировых барабанов в обрамлении резных лавровых листьев, в чьем основании было

замуровано масло из чистого нарда, которым Мария Магдалина мазала ноги Христа, и далее — до церкви Богородицы на Форуме и Претории — вдоль всех улиц и перед окнами дворца, всюду, встречая императора и его свиту, стоял народ.

Стража держала факелы, вынудив из ножен короткие мечи, и не подпускала толпу к ступени властелина мира, хотя никто и не пытался дотронуться до полы плаща или ноги императора. Люди стояли на месте и плакали, молились, призывали Господа, но не приближались к базилике и его охранникам. Пав духом, не имея сил для сопротивления и борьбы, подданные римского императора смирились и перестали надеяться, потеряв веру и в императора, и в себя.

Граждане Константинополя молились о чуде, не имея сил, чтобы что-либо предпринять для его осуществления. Толпа стояла перед храмами и общественными зданиями, на балконах и в дверях домов, толкалась на площадях и в парках, глазела на императора, молилась перед иконами, плакала, рыдала, проклинала, обезоруженная и потрясенная, полная тяжелых предчувствий и страхов. Разрушительный, липкий, всепроникающий страх в глазах и мыслях, в криках и молчании овладел городом и его жителями, царил и в душах подданных, и в душе их правителя. На просторной площади в южной части города, перед величественным, вверх устремленным куполом собора Святой Софии, император, вопреки годам и комплекции, грузно и медленно слез с придерживаемого, но все равно беспокойного вороного коня, которого пугал свет многочисленных факелов. Собравшаяся толпа, где недопустимо и неслыханно смешались бедные и богатые, сановные и полный сброд — расступилась, заслышав звуки пения и серебряные бубенчики на кадильнице, ощутив запах ладана и услышав шум тяжелых церковных хоругвей, позволяя процессии священников и монахов пройти сквозь эту беспорядочную волнуемую массу.

За хоругвями с изображением Нерукотворного Образа, в облаке дыма от ладана, придерживаемый под обе руки, окруженный черноризцами и священством, шел вселенский патриарх православного христианского мира Иоанн Х Каматепул — величавый, как ветхозаветный пророк, седой и длинноволосый, неторопливый и спокойный. Его одежда первосвященника была расшита ликами святых и Иисуса, богато украшена драгоценностями и золотом. Иоанн Х, начитанный и прекрасно образованный, искусный в дискуссиях, упорный в борьбе за чистоту веры, всю свою жизнь готовился к положению и месту патриарха восточной ойкумены. Будучи во всем остальном лукавым придворным, находчивым и дотошно знающим дела светские, даже может быть больше, чем церковные, он умел говорить, когда и сколько нужно и производил благоприятное впечатление на тех, кто с ним общался. Он был в меру мудр, выглядел непоколебимым и бесстрашным как этого требовала вера и происхождение.

Высокий и прямой, наделенный особым аристократизмом, который он упорно и терпеливо культивировал в себе, он шел по жизни без колебаний и препятствий на его пути практически не было. В этот момент он, Иоанн Х Каматепул, мечтал о том дне, когда он, как славный патриарх Фотий, выйдет с изображением Богородицы и пронесет образ вдоль стен столицы, защищая город.

Фотий для Иоанна был образцом особой решимости, мрачной и безоговорочной. День, для которого он родился и к которому всю жизнь готовился, наконец наступил, он был уверен, что имя его останется в истории как имя спасителя и избавителя. Он уже видел и выбитый на мраморе святой титул рядом со своим именем и огонь, вечно горящий на его могиле и разгоняющий мрак смерти и забвения. Его чистые ухоженные руки держали икону Богородицы с Иисусом, прильнувшим к ее груди, которую по преданию (в этом никто и не сомневался!) написал сам евангелист Лука. Это была Первая икона христианской истории, чудотворная защитница города, благословленная самой Девой Марией. Именно она сейчас находилась в вспотевших руках патриарха Константинопольского излучая благодатный неземной свет. Из собора Святой Софии икону выносили только в самые тяжелые времена, взывая к ней с мольбой о защите

крепостных стен. Славяне и авары отступили перед ее силой, и вот сейчас, в руках патриарха, она была последней надеждой на защиту и спасение того, что сами люди оставили и предали. Люди, такие испуганные и маленькие перед другими людьми, такими же ничтожными и испуганными.

Плач и бессвязные крики толпы заглушили пение и звуки серебряных бубенчиков, имитирующих трепетание крыльев Святого Духа, нисходящего на землю в дымке ладана, а взволнованный патриарх неслышно шептал молитву, приближаясь к императору, который склонив голову стоял на коленях и с нетерпением ожидал, что к нему подойдут и осенят знакомой с детства и осязаемой божественной защитой. С каждым, тяжелым и сдержанным, шагом патриарха, люди падали на ниц, кланяясь иконе и ее божественной мощи, забывая о том, что ищут помощи против людей, а не против богов, и о том, что если не находят сил, чтобы разбудить надежду в себе, то не найдут ее ни в священных предметах, несмотря на всю их святость.

Грешные люди всегда призывают на свою сторону помощь Бога и его возвышенное и абсолютное добро. Если бы они не были людьми и не были грешниками, то спросили бы себя, прежде чем начать ненавидеть, прежде чем допустить кровопролитие: действительно ли они достойны помощи и добра, а их неприятели – наказания и гибели, о которых они так молят Бога. Не будь они грешниками, им бы не была нужна ни Божья помощь, ни Божье избавление, а только Божья любовь.

Тысячи людей вышли из храмов и монастырей, где в жарких и душных церковных помещениях, певницах и апсидах искали спасения. Они столпились на площади перед собором Святой Софии, куда все прибывали и прибывали новые массы, желая увидеть чудотворную икону и небывалое зрелище: императора, стоящего на коленях на уличной мраморной мостовой под открытым небом, зрелище беззащитного императора без пурпурной мягкой ткани – словно был он одним из них. Император еще никогда не был таким близким, маленьким, доступным и таким далеким и ненужным, стоя на холодном скользком он мраморе принял благословение патриарха и бледными губами поцеловал лик Богородицы. Вздохи, молитвы, громкое пение монахов, рыдания заполнили ночь и были сильнее церковных колоколов и слов патриарха, который напрягал голос и ум, стараясь с Богом и людьми говорить внятно.

Патриарх всю ночь размышлял, что он скажет, когда наступит момент говорить перед императором и гражданами. Он листал книги, к которым давно не обращался за утешением и помощью, он мучительно думал, теребя волосы и бороду, он терпеливо подбирал слова тайком от тихих и надоедливых священников. Он повторял свою речь про себя, когда его облачали в торжественные одежды и когда он проверял правильно ли падают рукава, расшитые Христовым ликом. Беспokoясь о впечатлении, которое он произведет на собравшихся людей, а, еще больше, о своем месте в истории, которое она займет нынешней ночью, он искал слова и ему казалось, что он их нашел. Сейчас же плач и молитвы, гул и страх, который чувствовался даже за стенами церкви Юстиниана, смутили его и спутали слова, которые он так хотел сказать. Слова поддержки и ободрения, слова, подобранные для того, чтобы подтвердить его славу оратора и мудреца. Слова эти исчезли: их проглотили рыдания и крики толпы.

Император стоял на коленях перед огромным числом людей, потерянный, неловкий, скованный. Его пугал растерянное и одновременно яростное выражение лица патриарха, неуклюже и не к месту поднимающего и опускающего икону Богородицы в попытке успокоить отчаявшуюся массу. Люди срывали с себя одежду, рвали волосы и безудержно плакали, обуянные запоздалой набожностью. В этой испуганной толпе все были равны – и нищие, и обычные граждане, и благородные господа знатных семей, чья семейная история уходила в далекое славное прошлое. Объединенные общей бедой и предчувствием гибели, они забыли об осторожности и достоинстве, предоставленные моменту, когда каждый из них чувствовал себя прахом из праха, они панически боялись только одного – лишиться жизни. Каждый молился, но не за город и императора, а лишь о себе.

Вдруг крик, раздавшийся из толпы и перекрывший все остальные звуки, крик, полный горя и отчаяния, в один миг заставил всех замолчать и застыть. – Влахерон горит! – так звучали слова, и означали они начало безумия. Императорский дворец Влахерон, расположенный на берегу Золотого рога, был захвачен и сожжен, а армия крестоносцев, двигаясь на венецианских кораблях уже занимала береговые укрепления, слишком слабо укрепленные по глупости и легкомыслию их защитников. Оборонительные крепостные стены вдоль берега Золотого рога оказались ничемными— слишком низкие, слишком небрежно охраняемые. Они были построены во времена морского превосходства империи, когда и представить было невозможно, что неприятельские ладьи могут прорваться, минуя императорский флот за большую цепь, преграждающую вход в порт и напасть на город. Высокомерие – весьма сомнительное достоинство – сыграло злую шутку с царством ромеев: крестоносцы, высадившись с кораблей, сломали вялый отпор рассеянной по линии обороны стражи, которая, предавшись паническому бегству, могла разве что передать весть о горящем Влахероне. Обезумевшая толпа, заметалась по площадям и улицам, окончательно разрушая непрочный быт свой, прежний порядок и правила. В этой массе, где каждая перепуганная голова думала только о своей жизни и своем спасении, исчезли веками бережно и упорно создаваемые основы человеческого общежития, рухнула иерархия и порядок.

Во времена бедствий и великого страха стираются все различия – по богатству и по рождению, по положению и по знанию. Люди возвращаются к своему настоящему и единственному естеству – животному и эгоистичному, слабому, испуганному и безумному. Яростные крики, паника и сбитые тела слабых и беспомощных – явились знаками того, что рухнул порядок, веками скрепляющий общество в единое целое. Страх перед смертью сделал неважным страх перед властью, стыдом или бесчестьем.

Человек принимает порядок и правила, наказания и награды, только в том случае, если уверен, что его жизнь и существование будут защищены. Но столкнувшись с угрозой более сильной и более реальной, чем вера в государство и власть – человеческую и Божью, человек разрывает союз с тем, чему научился и что принял, он забывает значение слов справедливость, бескорыстие и честь. Бедному и несчастному человеку, столкнувшемуся с реальной и верной гибелью, жизнь кажется великой, правильной, важной, единственно возможной и целесообразной, и тогда он не задает вопрос о ее смысле или оправданности, а, напротив, делает все, чтобы сохранить и спасти жизнь: не думая о цели и не спрашивая о цене.

Крики о пылающем Влахерон рушили правила и нормы, порядок и основу, выстраиваемую веками, утвержденную верой и правом, кнутом и пряником. Разъяренная и безумная масса гнала впереди себя и патриарха, и императора, и икону, и дьяконов. Даже колокола перестали звонить, так как звонари, поддавшись панике, ринулись из церкви. Смешались военные и гражданские одежды, платья мирян и рясы монахов, благородные облачения и лохмотья. В толпе все были одинаковыми: и почтенные, редко появляющиеся на улицах матроны, сейчас в помятых одеждах и отброшенных назад вуалях растерянные и обезличенные страхом, лишены защиты неспешных, возвышенных манер, и сытые, отекавшие и разодетые, а сейчас жалкие и растерянные евнухи. Толпа уравнила матерей, забывших о плачущих детях, мужчин, использующих силу для того, чтобы растоптать любого, кто слабее. Безбородые лица мальчиков и потные бороды попов и стариков – вся эта обезумевшая масса людей и страхов прокладывала путь перед собой, вслепую выбирая направление и меняя его, когда слышались голоса, которые утверждали, что знают спасение от страшной мощи крестоносцев, пока еще незнакомой и от этого особенно пугающей.

В бушующем море страха и безумия, только славяне-наемники, тихие и мрачные, делали то, что было нужно делать и за что они получали деньги – мечами и копьями, телами и железом защищали императора и патриарха: от них, растерзанных и растерянных, они не отходили ни на шаг. Безумная толпа несла их с собой туда, куда текла сама, оставляя охране ровно

столько места, сколько было необходимо для того, чтобы, огородив императора и патриарха телами и тяжелыми шипованными железными щитами, дать им возможность дышать. Вспотевшим, уставшим, находящимся на исходе сил остаткам императорской свиты наконец удалось свернуть на одну из боковых улиц, ведущей прямо к порту Юлиана. Император, тяжело дыша, хватался за грудь и не соображая, что делает, сжимал на груди дрожащими ослабевшими руками верхнюю пурпурную тунику, забывая вытирать пот и не замечая слюну, капающую с бороды. Командир славян, высокий человек со спокойным лицом, изборожденном годами и шрамами, стоял рядом с императором, обнажив меч, и напряженно следя, не появится ли во мраке фигура крестоносца или еще какая-то другая опасность. Мимо, не стыдясь императора, без страха наказания и стыда, на ходу бросая шлемы и оружие, бежали солдаты, уже не понимая, что панический бег и капитуляция их не спасут.

Со стороны квартала Влахерон, по улицам и мостовым медленно, без спешки, разительно отличаясь от людей, тянулся дым пожара, неся с собой запах неминуемого поражения и скорой беды. Крестоносцы, опасаясь того, что их может ожидать за крепостными стенами, пытались с помощью огня установить линию обороны и таким образом отбить ожидаемую атаку императорских легионов. Черные от дыма, беспокойные от предчувствия и страха, рыцари ждали нападения, которого не было. Когда же они, предводимые опытными и кровожадными командирами, поняли, что столица пала, а с северных крепостных стен к ним приближаются их союзники, то пробив еще несколько небольших брешей в крепостных укреплениях, они проникли в город и ринулись вперед, оставляя за собой горящие дома и дворцы, дымящиеся церкви, рынки и школы.

Единственным разумным и абсолютно спокойным в ночь падения столицы был огонь – равнодушно, без жадности берущий то, что ему принадлежало. Пламя стирало следы человеческих усилий и желаний, размерено разрушало императорские палаты и нищенские лачуги, терпеливо и взвешенно забирало все, что вставало на пути, уравнивая пышность и бедность и убедительно доказывая, что все преходяще и ничтожно, кроме вечного, победного уничтожения и поражения. Огонь, пущенный руками человека, освободил путь своим творцам и лишил смысла любое сопротивление. Хриплые крики захватчиков, горланящих на грубых языках Запада, смешанные с треском рушащихся горящих домов, разогнали и те, немногочисленные растерянные ромейские отряды, которые еще думали, что оборона нужна и возможна.

Столица Востока, покинутая своими защитниками, была грубо взломана ударом железного кулака Запада. Император Алексей V, кашляющий от дыма и оглохший от шума и треска, с которым сдавался униженный город, посмотрел из-за широкой спины низкого, но крепкого наемника, в растерянные и белесые от страха глаза патриарха Иоанна X, который озираясь и оглядываясь, будто кого-то или что-то искал и то дело вытирал вспотевшие ладони о парадные одежды, без надобности поправляя края рукавов и одергивая подол плаща. Когда, наконец, к императору вернулась способность говорить, он, преодолевая боль в воспаленном горле, приказал идти к порту, к тайно пришвартованной императорской галере, на которой уже находились наученные горьким опытом царей-беглецов члены императорской семьи, остатки императорской казны и драгоценности. И они – властитель Востока и толкователь Божьих намерений— презрев достоинство человека и правителя, поспешили покинуть город, убегая от неумолимо приближающихся победных криков армии крестоносцев. Бросив ненужные факелы, торопливо двигался маленький отряд по улицам, освещенным пожарами.

Императорские гвардейцы, разделенные на две группы, затащили щиты, поправили боевые шлемы с перьями и повернулись лицом к наступающим их захватчикам. Город пал практически без сопротивления. Первые ряды крестоносцев, словно призраки в белоснежных паломнических – с крестами – плащах, измазанных гарью, усталые, с трудом дыша под тяжестью проволочных рубах и кольчуг, вышли к воде, не зная, что впереди находится желанная добыча

– ромейский император и патриарх, проклятый почти два века назад волей наместника святого Петра на земле, самим Папой римским.

Страх и беспомощность выплеснулись на улицы города. Стража басилевса терпеливо, без излишних усилий и криков, ныне совсем бесполезных на горлающих улицах павшей империи, противостояла массе охваченных паникой людей. И тут, крестоносцы поняли, кто находится рядом с ними, поняли – кто убегает от них. Присягая крестам, пришитым к белым плащам, которые были так хорошо видны в ночь падения города, они шли, не обращая внимания на огонь и человеческие стоны. Им, в их нетерпеливом желании схватить императора, не нужны были приказы вождей. Ими двигала корысть. Их толкало вперед обещание золота и дворянского титула тому, кто принесет коронованную голову ромейского императора и бороду патриарха-раскольника.

И личная гвардия императора была вынуждена, без особого на то желания, но и без колебаний, принять последний бой. Словно выросшая из ничего стена славян-наемников заставила воинов Запада яростно броситься вперед. Битва превратилась в бойню. Каждый старался добить, ранить, покалечить противника, которого сложно было различить в темноте и красноватой дымке боя. Столкновение отрядов превратилось в серию личных поединков и стычек, а не военных знаний, навыков и тактики. Остались только ненависть и желание продлить мгновение, и дать возможность удалиться императору и патриарху, которые убегали, защищенные спинами небольшого отряда упрямых и гордых наемников.

Несмотря на стойкость оставшихся воинов, хладнокровных и собранных насколько это было возможно, отступление все же было бегством. Крестоносцы двигались вперед по трупам, не останавливаясь даже тогда, когда слышали стоны о помощи своих раненых товарищей. Их учили, лучшей наградой и на этом и на том свете будет захват императора-раскольника и греческого попа первого среди еретиков, а не милосердие и сострадание и поэтому они пробирались через тела мертвых и живых, не в силах противостоять опьяняющему липкому запаху крови и удаляющегося призрачного богатства.

Пока лагерь крестоносцев располагался еще под стенами Константинополя, монахи и священники каждый день возносили искренние и усердные молитвы Богу всех христиан о падении города. И каждая проповедь заканчивалась ясными и неопровержимыми доказательствами того, что долг настоящего христианина – сломать и раздробить ортодоксальную ересь любой ценой. Христиане, которые не уважают уникальное и возвышенное положение Святого Отца, христиане, которые не отправляли армии, чтобы жечь и разрушать магометанские страны и города – не христиане, а проказа на лице христианства, нездоровая ересь, очистить которую может только огонь.

Воинам Иисуса было сказано, что во время святого крестового похода они могут совершить преступление словом или делом и им заранее было обещано прощение за все вольные и невольные грехи – *Militia Christi*, подписанное и скрепленное печатью и письмом наместника Петра, *Servus servorum Dei*, *Episcopus episcoporum*, *Vicarius filii Dei*, *Vicarius Christi*, *Pontifex maximus*, *Summa Sacerdos*, *Plus quam Sacerdos*, *Rex et Sacerdos*, *Mediator Dei*, *Pastor Angelicus*, *Consul Dei*, *Apostolicus*, *Dominus ac Deus*, *Anima Mundi*, *Defensor Urbis*, *Defensor Pacis*, папой римским Иннокентием III.

В кровавой смуте, которая уже никого не пугала и не ужасала, оставшиеся немногочисленные славянские наемники сумев сохранить порядок и сбившись в тесную кучу, оцетинившуюся копьями и мечами, провели императора и патриарха в порт, к кораблю, на котором нетерпеливая и испуганная команда, не дождав своих путников, уже начала развязывать канаты и отталкиваться веслами от причала. Толпы крестоносцев, привлеченные известием, что император Ромеи сбегает, неслись по улице, устраивая между собой алчную возню— дрались, кусались и рычали в надежде, что первыми доберутся до императорской сокровищницы, короны и огромного богатства, как будто схваченный император все свое богатство носил в

карманах. Резкие гортанные крики, быстрее разума, но медленнее огня, сделали так, что все, что ходило, или ползало, невзирая на кровавые раны, заполнило тесные улицы, воняющие гарью и тухлой рыбой. Но неожиданно грохот рушащихся в огне зданий и удары стали о сталь стихли и наступила странная, нереальная тишина. Наемники, отбив последнюю атаку преследователей остановились, готовые к неизбежному. Крестоносцы взяли передышку, ожидая спешащее к ним подкрепление. Перед защитниками императора, зажатыми на узкой линии берега, громоздились горы тел, а крови было столько, что ноги скользили с трудом находя сухое надежное место. Но славяне, получив от своего предводителя, высокого молчаливого человека тихую команду стоять до конца, поддерживали друг друга, выстроившись в сомкнутую, слаженную шеренгу. Император и патриарх, защищенные этим живым щитом, поднялись на корабль и, не прощаясь и не оглядываясь, покинули царство, за которое миропомазанные беглецы когда-то поклялись отдать свою жизнь.

Славяне не упрекали испуганного императора: их долг был исполнен и каждый полученный дукат был оправдан и заработан – они честно заслужили не только деньги, но и свое место в легендах и истории. Наемники-варвары, верные данному слову, кровью вписали в историю легенду о себе и своем племени, и не приукрашивая и не удаляясь от истины, сберегли ее на протяжении веков, оставив потомкам, кроме ненадежного и преходящего золота, еще и надежные воспоминания, которые помнить будут до конца дней своих их или, по крайней мере, до конца памяти. Никто не предложил им сдаться: никому в голову не пришло обратиться к ним – с угрозами, подкупом или с лестным словом, потому что наемники, израненные, потные, оцетинившиеся щитами, мрачные и молчаливые – выглядели так, что, сразу было понятно, что слово «сдаться» нет в их языке. Тишина разделила стоящих друг против друга тяжело дышащих людей. И если бы ее не прервали криками и шумом прибывшие новые отряды крестоносцев то, возможно, два отряда так и остались бы стоять вечно.

Громкий, властный, острый язык Запада, приказал крестоносцам броситься в атаку, и они взмахнули топорами, тяжелыми булавами, стальными мечами, длинными копьями и бросились на то, что осталось от Ромейской империи. И славяне, не принадлежавшие этой империи, умирали в этой последней битве, коля, рубя, тщетно защищаясь щитами и умирая рядом друг с другом, не размыкая шеренги. Разбитая и уничтоженная, в крови и грязи, гвардия, наконец, была раздавлена. Раненых не было – никто не выжил. И умирая под телами незнакомых людей и перепуганных ржущих коней, рыжеволосые славяне искали угасающими взглядами хоть одно знакомое лицо и сжимали оружие холодными, мертвыми руками, боясь выпустить его после смерти; уверенные, что только с оружием, красным от крови врагов можно войти в нехристианский рай своих предков.

И хотя всякое сопротивление прекратилось, ярость победителей не пошла на спад. Крестоносцы крошили мертвые тела, скользили в каше внутренностей, валялись среди трупов, копались в человеческом мясе, хватая все, что им попадалось под руку, убежденные, что кровавые лохмотья и части металла, оставленные на последнем поле боя императорской гвардии, это, на самом деле, предметы, принадлежащие правителю, золотые и редкие. Никто не пытался установить порядок и дисциплину. Предводители похода, хорошо знакомые с дикой природой своих солдат, равнодушно понимали, что в данный момент их команда ничего не значит, и сами присоединились к поджогам и грабежу – город пал, империя разбита. Четвертый крестовый поход достиг своей цели.

Какой-то монах с охрипшим от пения церковных гимнов горлом, с безумным остекленевшим взглядом, в грязной, почерневшей от гари рясе со сброшенным капюшоном, стоял, поднося благодарные руки к небу. Он, охваченный силой Божьей любви, которую видел в огне горящего Константинополя, встал на пути у группы воинов и призывая опуститься на колени перед крестом. Крестоносцы, спешащие предаться грабежу, равнодушно отбросили его как тряпич-

ную куклу, оставив беспомощного валяться на земле. Ночь над Константинополем, освещенная пожарами, раньше времени превращалась в утро.

Армии крестоносцев, по праву и обычаю, было дано разрешение: они в течение трех дней свободно и без наказания могут грабить город. И каждый помнил об этом обещании. Императорская галера покинула порт легче и быстрее, чем думали моряки и пассажиры. О ней забыли и ее никто не преследовал. Если бы кто-нибудь из крестоносцев нашел в себе силы оторвать взгляд от так желаемого ими грабежа и погрома, то увидел бы уходящий вдаль корабль без обозначений и гербов, лишь с иконой Мадонны с младенцем.

– Одигитрии Путеводительницы на носу. На корабле толпились люди – множество потрясенных, растерянных людей, неверящих в то, что видят, не знающих, что покидают, не ведающих куда плывут. Одиноких, покинутых в черноте моря. Между ними находился император, несчастный и потрясенный, лишенный способности говорить и размышлять, будто не понимающий, что происходит. Император стоял, опираясь на твердую руку моряка, который не мог придумать ничего другого, кроме как повторять:

– Басилевс, басилевс, это, это же порт. Наш порт.

Люди на палубе смотрели на полыхающий город и пытались увидеть лица на удаляющемся берегу. Во время грабежа, насилия и поджогов, лица людей меняются – и у убийц, и у жертв. Меняются по разным причинам: они надевают на свое лицо другую личину и от страха ли, от ярости ли теряют себя, свое лицо. Перед преступлением – совершает ли его человек или от него страдает – люди становятся тем, что они изначально и есть: испуганными животными, желающими жить любой ценой.

Свергнутый и побежденный император Алексей V Дука Мурзуфл, смотрел, как умирает его город – сгоревший, униженный, изнасилованный. Моряк, который положил ему соленую узловатую руку на плечо, клялся потом, что видел и слышал, как плачет император – не скрываясь, точно женщина или беспомощный ребенок. И моряк жалел о том, что не сумел защитить своего императора от слез, жалел тщетно и запоздало. Оторвав взгляд от пожарища император поднял глаза на высокий обелиск, возвышающийся над ипподромом Феодосия, где-то в VII районе города – он подумал, что если бы он остался, то его бы может сбросили с верха обелиска, так, что от него бы осталась как от Иуды, только треснувшая утроба. Император поежился, отбросил от себя пугающую мысль и вытер покрасневшие глаза.

Патриарх Цареградский Иоанн X Каметепул сидел, вытянув ноги, на мокрой грязной палубе корабля, и впервые в жизни ему было безразлично, что одежда его грязна и помята, а нагрудный крест потерян. Опозоренный патриарх плакал. Он заплакал после того как ясно, без заикания и пауз пробормотал себе в грязную взъерошенную бороду слова, которые хотел, но не успел сказать. Те слова, которые прервали огонь и паника. Он смотрел на очертания горящего города и думал о своих удобных, со вкусом обустроенных покоях в Патриаршем дворце. И сжимающий в бессильной ярости руки Иоанн X навсегда перестал сравнивать себя с Фотием или каким-либо другим человеком, чья жизнь имела смысл и повод, чтобы о ней помнили в веках.

Матросы на императорском корабле, натягивая паруса и привязывая канаты, наблюдали необычное зрелище: отсутствующего, ушедшего в себя императора и заплаканного патриарха – правителей земли и неба, которые не предлагали ныне ни веру, ни защиту, а сами, одинокие, насильно заброшенные в мир, который не нес им ни уверенности, ни надежды, нуждались в утешении.

В городе начались грабежи. Оставленный без присмотра и заботы, город сдался захватчикам. Ни милосердие, ни уважение к святыням и следам векового божественного присутствия императоров не тревожили ни ум ни совет победителей. Из улиц, домов, церковей доносились крики и смех – безумные, пугающие. Даже самые благочестивые и спокойные среди крестоносцев словно сошли с ума и забыли о существовании порядка и закона, морали и обычаев: все

предались разгулу природных инстинктов. Начались грабежи и всем казалось, что эти три дня будут длиться вечность. Захватчиков, опьяненных подарком победы и вкусом грубой, дикой и настоящей свободы, обуяло соблазнительное состояние вседозволенности, когда кажется нет ни греха, ни наказания, ни господ, ни слуг, ни правил, ни порядка – ничего. Только покоренный город, а в нем – они и свобода, о которой они и не мечтали – нагая, истинная, без маски. Свобода, данная им и взятая ими для того, чтобы три дня ее есть, ее пить и ею дышать. Несмотря на то, что затуманенный и размягченный ум крестоносцев не нуждался в дополнительной стимуляции, они в первую очередь добрались до вина и напитков, вкус и действие которых им ранее не были знакомы. Вино лилось рекой, воины смеялись над своими лицами и голосами, упиваясь ощущением победы над раскольниками-еретиками, наслаждались чувством вкусом всемогущества и отсутствием страха и ощущения греха.

Любой грех, совершенный в священной войне, был прощен заранее, и небо Запада радовалось, в то время как столица Востока горела и умирала. В домах, где лежали убитые мужчины, победители насиловали женщин, девочек, старух, мальчиков. Без раскаяния они брали все, что кожей и запахом чистого вымытого тела вызывало прилив страсти и обещало удовольствие, доселе незнакомое большинству священных воинов. Растрепанные, без железных нагрудников, которые были расстегнуты и переброшены через плечо, двое солдат вынесли из просторного двухэтажного, украшенного настенной мозаикой дома, полумертвую окровавленную женщину. Бросив свою, уже использованную, добычу в руки неизвестным соратникам, они с помощью боевых топоров с двумя остриями выбили следующую дверь – им было любопытно, что за ними скрыто.

Женщина, с опущенными руками, длинными расплетенными волосами, со сломанной челюстью и разбитым носом, едва слышно дышала и не издавала ни звука. Не пытаясь защищаться, уже изнасилованная и сломленная, она видела и ощущала многочисленные мужские руки, которые терзали ее, срывая те немногие клочки одежды, оставшиеся на ней. Они чередовались у ее ног, неестественно раскинутых, будто вывернутых из суставов. Пехотинцы, обычные веселые парни из небольшого альпийского графства, насиловали женщину жадно и нетерпеливо, будто в последний раз. Насиловали безжалостно и закончив, оставили ее умирать в одиночестве на тротуаре перед домом, который вероятно принадлежал ее семье.

Зло, вырвавшееся наружу требовало кров и мяса. Свежего мяса. Каждый угол города был полон солдат, словно их сейчас, каким-то чудом, было намного больше, чем до захвата. Сопровождаемый смехом и гиканьем, по улицам пронесся обезумевший конь без седла, к спине которого была привязана окровавленная голая девочка с вытянутыми вдоль крупа детскими ногами и едва заметной юной грудью. За ней, крича и пьяно спотыкаясь, бежали солдаты. Это её они недавно вырвали из крепко сжатых рук убитой матери и лишили ее невинности, а заодно и разума, а затем привязали ее к лошади и пустили обезумевшего коня нести свою такую же обезумевшую жертву.

Отряды солдат, бесчинствовали, волоча за собой золотые и серебряные кубки. Они выламывали иконы из драгоценных окладов, не смущаясь, что на них с укором глядят святые лики. Они набрасывали на старые свои доспехи, ржавые от крови, шелковые ткани и гобелены, сорванные со стен в домах аристократов. Они кидали на дорогу охапки драгоценностей, если видели другие, как им казалось, более ценные вещи.

Обезумев от безнаказанности, ослепнув от убийств и доступных богатств, крестоносцы бросались друг на друга, размахивая мечами, кинжалами и булавами и свирепо бились за чужое добро – алчные и ненасытные. Они убивали своих, они рвали свое мясо, пили свою кровь, только бы урвать как можно больше сверкающих вещей, драгоценных вещей, чужих вещей. Как только борьба между грабителями прекращалась, они, не оглядываясь трупы и раненых в лужах крови, шли дальше, часто и не взяв с собой отвоеванную добычу, лишь привлеченные каким-нибудь слухом, обещавшим новые, еще большие богатства.

На престоле православного патриарха, под удивительными точеными сводами собора Святой Софии, – несравненного храма, воздвигнутого силой знаний и воображения Исидора Милетского и Анфимия Тралльского, сидела блудница из лагеря победителей, показывая смеющимся пьяным солдатам свою толстую задницу и лохматый слипшийся от собственной и чужой слизи женский срам. Она визгливо пела какую-то скабрёзную песню на языке, который никогда раньше не звучал под высокими куполами храма Юстиниана.

Всадники, которые привезли распутную женщину для своих пьяных забав, отдирали оклады икон и вынимали драгоценные камни из глазниц святых на мозаиках, срывали золотые цепи с кадил, выливали освященные масла, топтали антидоры и мочились в баптистериях. Ничуть не смущенные и равнодушные к храму еретиков они ни разу не подняли взор свой ни на фреску Богородицы, ни на лики святых, ни на мозаику с императором Юстинианом, склонившимся перед Христом и передающим ему модель церкви, которую он задумал и возвел, когда наблюдал за посланной Богом пчелой и ее ульем, отлитым в виде будущего святилища. Они не видели помещенное высоко под сводами легендарное страусиное яйцо, защищающее, согласно забытому знанию, храм от пыли и паутины. Их не взволновал неземной свет, который клубился под высокими куполами – они ломали хоры и вонзали ножи в золоченые колонны алтарных врат, злясь оттого, что они оказались лишь позолоченными.

Люди, несущие на себе знак креста, с лицами, которые скрывали засаленные потные бороды, сбросили с возвышения большой деревянный крест и сняли с него золотую фигуру распятого Христа, страдающего от ран и человеческих взглядов. На мозаичных полах храма лежали бесчисленные трупы зарезанных наивных неразумных ромеев, которые надеялись найти здесь убежище: несмотря на отчаяние и страх, они верили, что обычай неприкосновенности храма существует и уважается. Их отсеченные части тела, разбросанные по всему храму, больше не верили ни во что.

Здесь были и монахини, собравшиеся в храме из многочисленных женских монастырей. Божьи невесты, давшие обет целомудрия. Они собрались здесь, надеясь найти, за крестами и иконами, защиту от ярости мужчин. Они били челом перед алтарем, покрыв черными монашескими одеяниями мозаичные полы храмов, дрожали и пытались вспомнить слова гимнов и псалмов на случай гибели и мучений, а потом пели их, веря, что их услышит Христос Пантократор, глядел на них с купола – строгий, всезнающий и далекий. Их тонкие, испуганные женские голоса дарили им хрупкую надежду до тех пор, пока молитву не прервал треск взламываемых ворот – звук, предшествующий боли, стыду и смерти. Монахини тщетно пытались найти в глазах ворвавшихся разнузданных существ в доспехах следы человечности и милосердия. Зло, только зло глядело на них. И они, глядя в его безжалостные глаза, покорно умирали, убитые солдатами, которые тоже когда-то присягали именем их небесного супруга. В ночь падения города, в ночь грабежа ни один символ, ни одна икона, ни одна молитва, ни одно слово, ни одна клятва, не могли ничего никому ни обещать, ни исполнить. Не могла никого уберечь и никого образумить. В ту ночь в Константинополе не было ни Бога, ни людей. Обманчивая и редко искренняя надежда на то, что все Христовы последователи однажды объединятся в одном толковании наследия Иисуса, была убита в ту весеннюю теплую ночь, тринадцатого дня месяца апреля – чтобы никогда больше не возродиться.

Наступившее утро ничего не изменило. Грабители не успокаивались – они ели лишь тогда, когда совсем уж не было сил, потому каждый час, потраченный на еду отнимал время, отпущенное на грабеж. Боясь потерять даже мгновение из трех обещанных дней полной свободы, крестonosцы продолжали грабить город, заходя в уже один раз ограбленные дома и снова вороша оставшийся хлам в надежде найти что-то ценное. Те немногие жители города, которым повезло спрятаться, дрожали от страха, молясь. Впрочем, солдаты начали сжигать дома и часто из пламени доносились крики и стоны несчастных людей. Впрочем, смерть в огне была предпочтительней, чем тот ужас, который ждал несчастных, если их находили.

Люди в эти дни были страшнее смерти. Огонь им давал надежду легкой смерти, а кричать они начинали уже потом, когда знали, что их не смогут или не смеют спасти. Захватчики находили своих жертв всюду: в чуланах, в погребах, в дальних комнатах и импровизированных убежищах. Они вытаскивали их на свет божий и, унижая, убивали, наслаждаясь своей силой и шалея от вседозволенности. Огонь, сопровождая пьяных от крови крестоносцев, гулял по городским кварталам, разрушая здания и церкви, акведуки и фонтаны, изящные арки и порталы на древних строениях, возведенных, чтобы показать непобедимого вечного царства.

Предводители варваров – славян, гуннов, болгар, авар, кутригуров, уйгуров, печенегов, турок, арабов, хазар когда-то в восхищении стояли перед этими мраморными ступенями и фасадами, перед высокими колоннами и бесконечными колоннадами, перед площадями и бульварами невиданной ширины и благоустроенности, и хотя они были невежами и язычниками, но возвращаясь на родину, они полные благоговения, зависти и восхищения по отношению к людям, которые с таким мастерством овладели камнем, звуком, светом и водой рассказывали о великом городе. Ныне христианские западные захватчики уничтожали город с такой холодной ненавистью, с которой ни одна другая религия не уничтожала даже своих врагов. Верующие в Христа, толкующие о любви и милосердии, они ободренные своими прелатами, что Иисус и его отец принадлежат им и только им, были убеждены, что дым пожаров, в которых горели восточные христиане и их дома, и церкви возносится прямо к небу и угоден Богу. Они жгли и разрушали, убивали и грабили, считая свой разбой богоугодной миссией и делом, достойным награды.

Банды солдат блуждали по незнакомым пустым улицам чужого города, дрались за остатки городских богатств и копались в его растерзанной створенной утробе. Захватчики слонялись без цели – шли туда, куда глядели глаза или несли ноги, но среди них были и те, которые точно знали, чего они хотят.

Тихие и ловкие генуэзские торговцы, точно знали куда идти. Они знали сокровищницы каждой церкви и знали, где они скрываются. В отличие от солдат они не ломали стены в поисках тайников. А приходили и спокойно забирали спрятанные драгоценные священные вещи. О тайниках им рассказали греки, которые жили в городе и с которыми они не только торговали, но и смешивались настолько часто, что для детей из браков латинян и греков существовало и особое название: гасмул. До дня своего падения и гибели в городе жило пятнадцать тысяч латинян, сделавших все, чтобы день падения города наступил как можно быстрее. Свой квартал, который они выпросили у ромейских императоров и за который щедро заплатили, располагался за городскими стенами на азиатской стороне и носил название Галата. Генуэзцы его бдительно охраняли, опасаясь, что армия, хоть и близких им по вере людей, может в угаре повернуть острия своих копий и в их сторону.

Непримиримые конкуренты в торговле и мореходстве, Генуя, Венеция и Пиза в этот, и только в этот, единственный раз в истории нашли общую цель: они объединились, чтобы уничтожить город, который сделал их торговые республики богатыми, но умел их одергивать и ставить на место. Когда люди создают богатство путем мошенничества, а не с помощью знаний, путем хитрости, а не трудом, их благосостояние будет всегда ненадежным, особенно, если есть тот, кто может припомнить о мошенничестве и даже попенять, а то и наказать.

И генуэзцев, и венецианцев с пизанцами, золото манило, но они, много лет живя среди греков, научились ценить не только грубое золото, но и то, что можно на него купить — блестящие творения великих мастеров прошлого. И сейчас, оставляя примитивное золото голодным и диким западным воинам, они искали, находили и забирали себе картины и статуи, столовые приборы и гоблены. Они уносили специи и духи, выносили из государственных складов шелка и товары, о которых всегда мечтали и которыми имела право торговать только императорская касса. Тихие и непохожие на безумных от крови и дармовых вещей солдат они находили золо-

тые шкатулки, которые руки мастеров украсили драгоценностями, шкатулки, которые самую главную драгоценность прятали в себе — святые мощи христианских мучеников.

Рождался новый мир, и вся божественная святость, которую на протяжении веков тщательно собирал великий город готовилась стать товаром, готовилась покинуть Восток и освятить храмы западных городов: частицы чудотворных мощей, топор, которым Ной вытесал ковчег, частицы Животворящего Креста, привезенные из Палестины, найденные рукой матери Константина — святой Еленой, наконечник копья, которым пронзили бедро Христа, гвозди, которые прошли сквозь руки и стопы Мессии; таинственная плащаница с его ликом, полотно, которое покрывало плечи мальчика Иисуса, терновый венец с острыми шипами, хрустальный флакон с Христовой кровью, рубище Иисуса, в котором он шел на Голгофу, голова и рука Иоанна Крестителя.

Священные доказательства веры вывозились бережно и с уважением, на заре третьего дня в городе не осталось ни одного священного предмета. Предметы эти не были просто драгоценностями. Они являлись знаками присутствия Бога. Их наличие подтверждало существование Бога и тем самым утверждало страх пред наказанием Божиим, что гарантировало их новым владельцам покорность и преданность человеческих душ.

Кости святых были увезены на Запад, чтобы привлечь паломников и их пожертвования. Привлечь паству: дикую и суеверную. Именно на этих святых реликвиях, украденных у ромеев, воздвигнут башни и монастыри, заложат новые города и государства. Когда чудотворные частицы мощей дойдут до новых, предназначенных им мест, по своей ценности они будут равны целым княжествам и за обладание этими святыми мощами будут вестись новые войны. Воинственные правители Запада, с их языческой верой в магическую силу предметов и сомнительной убежденностью в силе христианской веры и страданий, в поднимут армии, чтобы отнять и присвоить себе останки святых мучеников, полученных ими так же с помощью войны. А с мощами святителей из города уходила вера и надежда, та вера и та надежда на алтарь которых все эти мученики — защитники людей, клали свои жизни, во имя которых принимали муки и терновые венцы. Земные останки апостолов, проповедников мира и человеколюбия, уплыли из города, насильно вырванные из храмов.

Город остался один на один с кровью, блудом и злом. Третий день безграничной свободы заканчивался. Крестоносцы медленно приходили в себя, тряся хмельными головами, тяжелыми от долгой разнузданной свободы, которую они испытали и которая сейчас заканчивалась. Одетые в броню всадники в сопровождении боевых трубачей будили и собирали уставшее, растрепанное, спящее войско, искали солдат на пожарищах и в храмах, в оскверненных постелях богатых домов, в разрушенных трактирах и винных подвалах. Проснувшихся крестоносцев звуками труб и ударами копий и топоров всадники вели с собой, заставляя тормозить и будить остальных товарищей по грабежу и оружию: отупевших, изнуренных, сонных. Угрюмые хмельные воины взваливали на себя мешки и узлы с ограбленными вещами и, покачиваясь, шагали к флагам, под которыми ранее шли в святой поход против Иерусалима и под которые их сейчас пытались собрать снова. И собравшись возле своих флагов они возвращались в нормальную жизнь, ту, которая признает существование порядка и правил, авторитета и власти.

Солдатский грабеж закончился. Все, что могло быть изнасилованным — было изнасиловано; все, что могло быть убито — было убито; все, что могло быть похищено — было похищено и отвезено на конях и плечах тех, кто из имущества до этого имел только свою жизнь. Наступило время делить то, что действительно было ценным. Дележом занимались лучшие из крестоносцев. Кубки и чаши, женщины и вино, иконы и золото — это награбленное добро уже было поделено. Это были мелочи. Настал час делить землю, дворцы и крепости, человеческие души и власть. Солдатский грабеж закончился, начиналось время иного грабежа. Время военачальников. И Зло готовилось. Зло затаилось и выжидало. Всегда голодное и всегда терпеливое.

## 2



В страну великого жупана Вукана, сына Немани, весна пришла поздно. Его владения, которые омывались реками Дриной, Лепеницей, тремя Моравами и Дримом, не отличались мягким климатом и не могли похвастаться долгим плодородным летом. Тем не менее, пора таянья снегов наступила и бурлящие горные ручьи, разбивая ледяные оковы, полноводные и мощные, поспешили в долины. Давно не было такой долгой и студеной зимы, как в этот год. У малодушных и суеверных народов холод вызывает страх: они думают, что это наказание за грехи и людей, и их правителей.

Каждая зима воспринимается как окончательная гибель мира. Горы и утесы скрываются под тяжелыми и неподвижными пластами снега, а земля, сжатая льдом и холодом, умирает. Как умирают и семена, которые прячет она в стылом своем лоне. Скот, который кормят все реже и скуднее, худеет, а, следовательно, и молока не дает. Осенних запасов сена и дорогой соли хватает ненадолго, а к окончанию зимы достать их невозможно ни золотом, ни силой.

Весна – это голод. После суровой и холодной зимы – этот голод особенно остро чувствуется. Народу в стране правителя Вукана голод знаком. Он, тихо и ожидаемо, как нежеланный, но частый и знакомый гость, входил в грязные низкие жилища, слепленные из земли и соломы, в ветхие дома без окон и крепкой крыши, с узкими и низкими дверями, чтобы сохранить тепло. Голод забирал слабых и болезненных, уводил за собой тех, кто не мог выжить без чужой помощи и заботы. Домов, в которых мертвых от болезней или холода, голода или немощности этой весной практически не было. Даже в тех домах, которые считались зажиточными, ели скудно: сберегая муку и вяленое мясо.

Закаленные и приученные к долгой зиме и короткому лету люди в стране великих жупанов научились жить скромно. Они молились Богу, но не ожидали от него многого. Хотя порой и их, часто неграмотных, невежественных, не очень верящих в догматы и тайны христианства, бросало в ересь, которую им не прощали и за которую нередко строго и яростно наказывали.

Мысли о Боге, отличающемся от всего, чему учили великие рассорившиеся между собой церкви, были нежелательны и их тщательно удаляли как удаляют сорняк. Человеческие же действия, которые из-за злобы и насилия нельзя было назвать ни благими, ни божественными, оставались без наказания, без осуждения, защищенные силой и благословением власти. В стране великого жупана Вукана зима была суровой и долгой, а весна приходила нехотя, но люди должны были жить, потому что иначе не умели и не смели – они были собственностью своих хозяев и внимательно выбирали, когда умереть: всегда для работы должно хватать крестьянских рук, а для войн – нужны крестьянские головы в нужном количестве.

У подножия горного хребта, покрытого снегом, густо заросшего ковром соснового леса, лежала небольшая долина. С северной стороны ее окаймляла быстрая мутная речка, которая текла на юг и редко покрывалась льдом, а на западе и востоке ее закрывали массивные скалистые горы. В середине долины был возведен монастырь Святого Николая. К нему вел единственный путь – узкая, утоптанная тропа, местами укрепленная бревнами и посыпанная камнем. Путь шел с юга и перейти воду помогал крепкий, хотя и узкий мост, сделанным из грубо обработанных бревен. Монастырские стены были высоки, надежны, и только одни ворота были открыты и вели к реке и ко входу в долину. С расстояния, если спускаться по горной тропе, сначала можно было увидеть деревянную сторожевую башню, а потом – стену, над которой выступала крыша главной церкви. Толщина стен и солидность деревянных ворот, укрепленных железными заклепками, свидетельствовали о том, что страна, в которой так охраняются церкви, не знает, что такое долгие годы мира, а власть – даже если она есть – не везде может защитить. По воскресеньям с первыми лучами солнца монастырские ворота открывались, призывая верующих на молитву. На праздники люди приходили в монастырь издалека – кто на лошадах, кто пешком, согласно личному обету, положению и богатству.

Набожные монахи приписывали славу монастыря как чудесным исцелениям, о которых в народе ходили слухи, так и святости игумена Владимира – мягкого, культурного и грамотного человека, который, как рассказывали, побывал в самом Греческом царстве и своими глазами видел то, что люди называют морем: большую воду – соленую и синюю, как небо. Из путешествия в Римскую империю, в котором он смог добраться и до Святой горы, игумен привез книги, написанные на коже ягненка, скрепленные тонким серебром и украшенные ликами Иисуса и святых. Он бегло читал эти книги, написанные на греческом языке странными витиеватыми буквами, и с их помощью лечил людей.

Игумен Владимир управлял монастырем уверенной спокойной рукой, радуясь его процветанию и устойчивой репутации. Будучи от рождения нежным, хрупким и невысоким, он напоминал свою мать – болезненную тихую женщину, рано умершую, сломленную тяжелой жизнью и какой-то печалью, с которой она больше не могла бороться и которую она была не в состоянии высказать и объяснить. Его детство прошло среди таких же как он – немощных, слабых детей, лишенных возможности принять участие в грубых мальчишеских играх и однажды, получив меч, добыть им себе честь и имя.

Далекий от мечты о битвах и богатствах, которой бредил почти каждый его сверстник, он рано обратился к вере и искал людей, от которых бы смог что-то узнать и чему-то научиться. Он много времени проводил возле дороги или маленького рынка, где поджидал странствующих монахов и попов, умоляя их обучить его буквам и библейским притчам. Он легко и без сомнений решил принять постриг, минуя тем самым уготованную ему судьбу своего отца – честного трудолюбивого ремесленника, который, впрочем, поддерживал его как мог и благословил его

выбор. Удаление сына от мира отец принял быстро и без особого горя, понимая это решение как прекращение мучительной и затянувшейся обязанности заботиться о немощном мальчике.

Владимир, с его плохим здоровьем, дополнительно подорванным строгой подвижнической жизнью, страдал среди диких и грубых соотечественников своих, но будучи послушным своей вере, старался их полюбить и понять. Он прощал людям их слабости, но себя судил строго и даже сурово. Путешествующего по церквям и монастырям умного и набожного монаха заметили и послали учиться в большие и важные духовные центры. Из путешествий Владимир возвращался не только с книгами, именно там у него появилась нездоровая привычка морить себя голодом, наказывать и мучить себя сверх всякой меры, слишком жестоко даже для монаха. Он презирал свою плоть и называл тело греховной, ветхой и слабой клеткой для души, препятствием на пути к небу, созданным для того, чтобы стеснять и унижать людей.

Тень аскетической и суровой жизни залегла тенью возле его светлых глубоких глаз, которые иногда, без предупреждения и причины, сужались от только ему известной и понятной боли, меняя его добродушное округлое лицо, безжалостно испещренное морщинами, которые были знаком прожитых лет, самобичевания и отречения.

Монастырь был устроен по православному обряду: алтарь смотрел на восток, а главная дверь открывалась на запад, как бы призывая людей отправиться из тьмы западного греха к свету истины Востока. Храм впечатлял не размером, а сметливостью и терпением, с которыми его строили. Он стоял на прямоугольной основе в форме креста – по примеру греческих церквей, с одним куполом, умело выстроенном и покрытом твердой дубовой черепицей. Этот, который купол символизировал небо и напоминал о Христе, украшал деревянный, тщательно выгесанный крест. Церковь, подсобные помещения и крепостные стены были построены на деньги богатых купцов, которые таким способом демонстрировали свою набожность и возносили хвалу Всевышнему за жизнь и успешную торговлю. Обычный народ ворчал, говоря, что это мироеды покупают у Бога местечко в раю, но радостно шли по воскресеньям и праздникам торговать у раскинувшегося возле монастыря рынка. Правда здесь редко занимались именно торговлей, скорее обменом, меняя излишки своего труда на нужный товар. Денег в стране правителя Вукана было немного и работы часто заканчивались обменом: крестьяне предлагали свои скудные запасы, очень редко кто мог заплатить за товар медными и серебряными монетами. А уж золотые монеты мало кто и видел – их берегли для знати, далеко от рук и глаз простых смертных.

Долгий и надоевший за зиму холод не позволил собраться большой толпе, поэтому люда было не так много, как обычно. А сейчас, когда день клонился к закату покупателей почти не было. В монастырском дворе не продавали ни дичи, которая, будучи изнуренной зимой и голодом, легко шла в силки, ни другого мяса, так как наступил пост и богобоязненные монахи отказывались осквернять церковный двор этим товаром неположенной едой. Торговцы вынесли лесной мед, сушеные травы, валянную и чесанную шерсть, краски, медовуху, гречневую муку, деревянные тяговые рамы, рогатины, гребни и заколки из кости, деревянные и костяные ложки и чаши, дубленую кожу и овечьи шкуры. Лежало и несколько отрезков серого плотного некрашеного сукна, но покупателей на него не находилось. Люди ходили, рассматривали, трогали товар, спрашивали цену и отходили от рядов. Сделок почти не было. Недовольные купцы, разочарованные плохой торговлей, быстро собирали свое имущество, жалуясь на холод и общую бедность. Божья служба закончилась и день начал угасать.

Выходя из церкви, воевода Строимир, грузный в тяжелой и теплой медвежьей шубе, повернулся и поклонился алтарю, перекрестился и нахлобучил рысью шапку на большую голову, обриту, чтобы не позорить себя остатками редких седых волос, на лысо. Рядом с ним шла молодая, худая, бледная жена его, замотанная в лисьи меха так, что видны были только блестящие черные глаза, покрасневшие и опухшие от слез, которые она не сдержала во время службы. Игумен Владимир – сгорбленный, хрупкий и слабый – проводил Строимира до две-

рей, протянув напоследок для поцелуя свою костлявую старческую, желтоватую руку. Воевода медленно и неохотно согнулся и прикоснулся губами к тыльной части ладони – он не привык кланяться людям более слабым, чем он, даже в церкви.

– Пусть Господь заглянет в ваши сердца, очищенные от злобы и гордости, и пусть благословит вас потомством. – произнес игумен тихим ясным голосом, в котором не было никакого скрытого смысла, как это показалось угрюмому дворянину. Игумен улыбнулся и когда молодая смущенная женщина целовала ему руку, оставляя на ней мокрый след своих слез, а потом прикоснулся к ее, покрытой шалью голове, и благословил.

Воевода Строимир женился в третий раз, что не часто бывало среди православных. Для того, чтобы, минуя обычаи и правила, получить разрешение на новый брак, он должен был доказать, что вторая – как и первая – его жена была бесплодна. Во имя третьего брака он возложил на алтарь православной церкви много (и чересчур, как он считал, много) золота, мехов и зерна. Не забыл воевода и римскую церковь, которую с недавних пор очень почитал. Но уже прошел год, а новая, третья жена не показывала никаких признаков беременности, хотя была взята из известного порядочного дома, где часто рождались здоровые дети мужского пола.

Лицо воина, осознающего близкую старость и вероятную судьбу своего поместья, которое несомненно, без наследника и защитника, придет в упадок, не могло скрыть тревогу. Стойкая глубокая морщина между бровями свидетельствовала о страданиях, которые человек сдерживал как мог. Она появилась после долгих бессонных ночей, когда он в одиночестве размышлял о себе и одинокой старости. Старости без наследника. О его желании иметь сына или, по крайней мере, девочку, знали все в стране, хотя в голос никто не смел об этом говорить. Воевода был вспыльчив, резкого и крутого нрава и никому не позволял себя жалеть или давать советы, потому что любое сочувствие казалось ему скорее насмешкой и ядовитой завистью, чем искренним пожеланием добра. Он, грубый и сильный, все еще легко нес свое тело: тяжелые плечи и большой живот, широкую волосатую грудь и крепкие мощные руки с короткими пальцами, которые не держали ничего меньше и легче меча. Движения его были медленны и скупы, лицо и ноги раздалились, но в нем по-прежнему была угрожающая мужская сила, хотя все чаще он задыхался и уставал от усилий, которые когда-то шутя выполнял.

Его жизнь, которую он провел на службе у отца нынешнего правителя Вукана, великого жупана Стефана Немани состояла из войн и пограничных стычек. Происхождения он был незнатного: родившись у свободных людей, которые не могли ему оставить ни славного имени, ни земли, которой бы он кормился, он выбрал военную стезю, желая оружием и отвагой проторить себе путь к уважению и богатству. Он ушел из родительского дома без сожаления, не попрощавшись даже с братьями и сестрами. Больше он туда не вернулся и никогда в жизни не спросил, что случилось с родителями, которые дали ему жизнь. Те, кто помнил его с ранних лет, говорили, что он даже не пытался найти друзей среди сверстников. Он с вниманием и даже подобоострастием повиновался тем, кто был сильнее и влиятельнее его, но в отношении слабых и низших был жесток и несправедлив.

Низкое происхождение и нужда, в которой прошла его молодость, оттолкнули его от людей, сделали его грубым и тяжелым человеком с недоверчивым мрачным взглядом. В боях он показал себя надежным и храбрым воином, держащим слово, но неспособным дать совет или принять решение. Зато он был наделен безумным презрением к любой опасности и оставался по-собачьи верен хозяйской руке до тех пор, пока в ней была кость. Он отличился в большом сражении на реке Мораве, когда собрал вокруг себя уже было обратившихся в бегство легко вооруженных солдат, вернул их в битву и повел на смерть против закованной в латы пехоты императора Исаака. Он до конца оставался с великим жупаном Стефаном Неманей и полз на коленях рядом с ним, когда того с веревкой на шее вели к победителю – греческому царю.

Поражение он переживал также, как и победу – спокойно и молча. Стефан Неманя, опытный и упорный правитель, был хорошим знатоком людей, и чаще использовал их недостатки, нежели достоинства. Он не забыл храбрость и верность своего слуги, наградив за преданность землей, виноградниками, пастбищами, стадами, деревнями, крестьянами и охотничьими угодьями. Несмотря на то, что монастырь находился на земле Строимира, он ему не принадлежал, но поскольку был воздвигнут не правителями и патриархами, воевода считался защитником святыни и ее братии. В монастыре к его слову прислушивались и относились с должным уважением.

К монахам Строимир относился с вниманием и скрытым необъяснимым страхом перед властью ладана и непонятных букв и слов, в которые их складывали те, кто умел их понимать и читать. Тем не менее, он был прижимист той особой жадностью людей, чья молодость проходит в лишениях и боях, а пришедшее поздно благосостояние делает их черствыми скрягами, охочими до земли и денег. И новый правитель – сын Стефана, Вукан – не обидел старого воина, который не сразу встал на его сторону в его распри с братом. Вукан об этом никогда не забывал, но и не напоминал. Доказательством того, что между ними нет раздора и что новый правитель, находясь в разладе с братом, чтит память об отце, было и то, что Вукан приблизил Строимира и подтвердил его право собственности на землю и крестьян.

В соответствии с высоким и важным положением, за воеводой признавалось право наказывать, и судить за провинность на своей земле всех, даже людей благородного происхождения. Доверие правителя обещало ему еще больше земли и денег, но, вот наследников у него не было. Он боялся, что после него земля перейдет к чужим людям, не имеющим ничего общего с его именем и родом и что правитель, возможно, отдаст их кому-то, кто сможет верно ему служить. И этот страх не давал Строимиру покоя.

– Если и эта не затяжелеет, то прогоню и ее, – произнес Строимир, показывая на жену и заранее беспокоясь, что скажет церковь, если он и в четвертый раз решит жениться. К тому же, он не знал, будет ли этому препятствовать великий жупан Вукан.

– Яловица, неродица, – прошипел он на жену, которая опять начала тихо плакать. – Замолчи, – процедил он сквозь редкие желтые зубы и угрожающе поднял руку.

– Не в доме Божьем, – остановил его по-прежнему спокойный игумен Владимир и опустил руки вдоль длинной грубой монашеской рясы.

– Даст Бог, будет у тебя сын, Стоимир – не гневи Господа. А ты, молодница, слушай своего господина и повинуйся ему, как и должно, ибо создал Бог для человека женщину, чтобы она уважала его и ему угождала, – сказал Владимир, желая утешить молодую супругу воеводы. Она стояла с опущенной головой, пряча испуганные виноватые глаза от презрительного взгляда своего разочарованного супруга.

– И не думай, что проблема во мне, пустобрюхая, это невозможно! – произнес воевода, трясая густой седой бородой, гневно спускаясь по лестнице. Как только Строимир сошел с последней ступени, его окружили нищие, которых бедность и голод заставили бродить по холоду и просить милостыню. Четверо мужчин, закутанных в какие-то в лохмотья, тянули изувеченные руки, показывали струпья, шрамы, раны и молили плачущими голосами о подаянии.

Во дворе воеводу ждали слуги. Один сноровисто протянул ему меч, который воевода неохотно и сердясь, снял перед входом в церковь, возмущенный тем, что в прошлый раз Владимир попросил его отдать оружие – этим своим тихим гнусавым голосом, словно обращался не к воину и властелину. Не выпуская из рук поводья лошадей, запряженных в деревянные украшенные сани, помощники отогнали от хозяина попрошайек и нищих. Те не сопротивляясь, отступили.

Воевода сел в сани, укутал себе и жене ноги тяжелой овечьей шкурой и даже не поглядел на человеческий сброд, который просил хлеба. Нищие протягивали кружки для милостыни, стараясь не слишком приближаться к саням и продолжая надеяться хоть на какое-то подаяние.

Только один из четырех убогих на свой страх и риск подошел, схватил за рукав госпожу и прикоснулся к маленькой женской ладони голой грязной рукой с длинными черными ногтями, потрескавшимися от холода. Это был низкий горбун, опиравшийся на кривую палку, завернутый в такое количество поддевок и шкур, что невозможно было определить его возраст. Под гнилой ветошью и вонючими заячьими шкурками была видна уродливая голова с редкими слипшимися волосами и одним гнойным белым глазом.

– Поддай, матушка, Христа ради – сына родишь, – бормотал нищий, протягивая к ней пустую деревянную миску. Он с усилием, по слогам произносил слова, едва шевеля замерзшим ртом, из которого струилась обильная слюна и шел пар и смрад. Женщина испуганно вскрикнула и один из сопровождающих воеводу слуг, энергично оттолкнул нищего. Тот, запиричатав скорее от страха, чем от боли, не удержался на единственной неустойчивой ноге и кувыркнулся в снег. Взбешенный его бесстыдной наглостью, Строимир выпрямился и зло ударил калеку длинным кнутом, вложив в удар все свое беспокойство и гнев – на жену, на Бога и на себя. Трое слуг окружили согнувшегося пополам нищего и стали хлестать его по горбатой спине короткими наездническими плетками. Свернувшийся в клубок человек извивался под ударами, насколько ему позволяло искалеченное тело. Строимир стоял в санях, вспотевший и красный от гнева, и кричал на слуг, чтобы ударили быстрее и сильнее. Игумен Владимир, несмотря на старость и больные слабые ноги, спешил на помощь – оттолкнув влажную, в пене, лошадиную морду, он опустился на колени возле заплаканного и испуганного калеки.

– Оставьте несчастного! – крикнул игумен слугам и поднял руки, останавливая в воздухе кнуты.

– Он же слабоумный! Строимир, скажи им, чтобы перестали! – крикнул он воеводе, возмущаясь насилием, которое творилось вблизи места, осененного крестом.

Слуги не знали, кого слушать, но увидев, что воевода сердито нахлобучил шапку на лысую свою голову и молча сел, вернулись и встали впереди и позади саней. Остальной народ, монахи и нищие, находившиеся в монастырском дворе, крестясь от страха, отошли как можно дальше от пышущего злостью воеводы. Запыхавшийся Строимир, остановленный ледяным, почти угрожающим тоном игумена, приказал трогаться не ожидая, чтобы полозья очистили от нарощего льда. Уже успокоившийся, но все еще заметно сердитый, воевода стегал стесненных упряжью лошадей, заставляя их двигаться быстрее. Он сердито глядел в сторону настоятеля, который стоял на коленях рядом с дрожащим слюнявым нищим и шептал ему сквозь бороду: все хорошо, все хорошо, сын мой, все прошло.

За воеводой двигалось конное сопровождение. Им не нужно было разгонять людей, так как сила и гнев хозяина делали это вместо них. Наконец, удары кнута по напряженным лошадиным спинам, заставили двинуться возок освободившийся ото льда на полозьях. К воеводе прижималась жена, перепуганная криками и звуками хлыстов – ее тело просило мужа обнять и успокоить ее. Но Строимир, все еще переполненный гневом, плечом оттолкнул от себя дрожащую супругу, крепко сжал вожжи и опять начал ругаться сквозь зубы – бессвязно и злобно.

Когда воевода уехал, нищие с опаской вернулись к церковным воротам и продолжили просить милостыню. Горбун все еще сидел на снегу, трясась и рыдая.

– Дайте ему что-нибудь поесть, – сказал игумен монаху, стоящему позади него и не отрывающему глаз от жалких остатков человека, который ползал и искал потерянную палку, без которой калека не мог подняться.

– Помилуйте, да ведь он худший из всех, – ответил, недоумевая, монастырский эконом Аркадий. Молодой работающий монах следил за всем хозяйством и благодаря его трудолюбию и бережливости монастырское имение благополучно сводило концы с концами. Активный, всегда в движении, он вечно беспокоился и боялся, что имущество растащат и разворуют и что, в конце концов, монастырь перестанет существовать и служить Богу. Крестьянский сын, смывленный и находчивый, он, желая чего-нибудь добиться в жизни, пошел в монахи. И хотя

сам он едва читал и писал, его считали умным и добрым человеком, который с годами сможет даже и мудрым стать. Но позже, не сейчас, сейчас он слишком деятелен для мудрости – все хочет потрогать своими руками. Он был капризен и недоверчив к людям, а иногда позволял себе подумать и чуть ли не произнести вслух, что игумен до глупости наивен и неразумно открыт для всех – словно в мире не существует зла и разрушений, ненависти и греха. Когда Аркадия одолевали мятежные и грешные мысли, он прогонял их далеко от себя и брался за любую работу, в которой не было места сомнениям и вопросам. Высокий, здоровый, с румяными щеками, с крепкой челюстью и густой черной бородой, он больше походил на ломового извозчика или солдата, чем на монаха.

– Он ведь если не прокаженный, то чесоточный. Гони от себя и от нас это отродье, игумен, – сказал монах с отвращением, глядя на единственный страшный белесый глаз и отвисшую челюсть рыдающего в снегу нищего.

– Не нам судить кто есть, кто, – укорил его игумен с почти сердитым выражением на добром морщинистом лице, потрогав седую редкую бороду со спутанными концами.

– Болезнь от дьявола, а исцеление от Бога, Аркадий, грешная твоя душа. Вспомни книгу Иова – кто знает, что натворил этот несчастный и какая беда сделала его таким, – поучал игумен. Он поднял слабую старческую руку над головой и строгим серьезным взглядом удерживал внимание молодого монаха.

– Я грешен, отче, грешен, прости и помилуй меня. Но ведь и для братии еды недовольно, а еще этого кормить. Что если господин Строимир рассердится на нас из-за этого отщепенца? – оправдывался Аркадий, злясь на себя из-за того, что не удалось скрыть раздражение в голосе. Он сердился на себя всякой раз, когда игумен, которого он искренне любил и уважал, укорял его за несдержанность и быстрый язык.

– Я ведь слежу за этими нашими несчастными, помогаю, правда редко – оправдывался монах, опустив голову.

– Ладно, брат, ладно, – примирительно произнес игумен. – Мы не торговцы и не собиратели серебра. Служим Богу, а не Строимиру. Да и я грешнее тебя и самого грешного грешника. Все от Бога, сын мой, все от Бога – кто я такой, чтобы судить. Накорми голодного и напои жаждущего. Вечером посели его в сарае, в каком-нибудь теплом углу, а завтра на рассвете пускай идет с Богом – закончил игумен без тени упрека и повернулся к крестьянам, которые стояли перед церковными дверями с непокрытыми, склоненными головами. Крестьяне ждали Владимира, чтобы поговорить и, возможно, получить какой-нибудь совет. Но в первую очередь они хотели пожаловаться на жизнь и получить благословение. Испуганные гневом Строимира, они, дожидаясь, что он успокоится и уедет, делали единственное, что умели – молчали, опустив головы. Они привыкли покоряться силе и власти, привыкли молчать, спасая свою голову. Вот и сейчас, защищенные стенами монастыря, они были довольны, что гнев правителя обошел их стороной. И крестьяне, и монахи знали, что такое неправда и насилие, поэтому в сегодняшнем событии для них не было ничего необычного. Они уже почти забыли, что случилось, продолжив разговаривать и делать то, ради чего сюда и пришли.

Дни были студеными и опасными, поэтому те, кто пришли издалека, должны были собираться в обратный путь, чтобы успеть вернуться засветло. Торговцы собрали товар и погрузили его на низких косматых лошадях своих, уродцев с большими головами и короткими сильными ногами, но крепких и выносливых. Они кричали на слуг, чтобы те быстрее двигались и бережнее вязали тюки и седлали коней. Крестьяне, уходя, целовали монастырские ворота и спешили, боясь встретить ночь в дороге – тогда они могли бы стать легкой добычей холода или разбойников, рыщущих повсюду: их, как и волков в ночной промысел выгоняли голод и стужа.

– Хвала Господу, и это закончилось, – подумал Аркадий и, прогнав нищих со двора, закрыл ворота с помощью тяжелой дубовой доски.

– Илия, что ты там делаешь, иди сюда, разрази тебя гром! – крикнул Аркадий и тотчас же раскаялся, испугавшись, что игумен услышит, как он ругается в Божьем доме, да еще в воскресенье. – Иди сюда! – крикнул он немного тише неуклюжему длинному подростку лет пятнадцати.

Сирота со взъерошенными спутанными рыжими волосами появился перед монастырем несколько лет назад. Как он сюда попал, кто его привел к воротам монастыря, кто его родители и откуда он родом – не знал никто. Впрочем, никого это и не интересовало. Монахи его крестили, не зная, сделал ли это кто-нибудь до них. Они спасли его душу и приняли его в православное братство, дав ему имя Илия, так как он пришел из пустоши, как пророк. Свое прежнее имя он не называл, да его никто и не спрашивал, поэтому он так и остался Илией. Немного медленный, флегматичный, но добродушный, послушный и благодарный, он жил среди монахов, трудился и втайне надеялся, что однажды, и он примет постриг. О своем желании он не говорил никому и когда все уходило спать и он оставаясь один, чтобы подмести в церкви или поменять масло в кадилах, то украдкой изображал настоятеля во время службы, пел по памяти слова, которые не понимал и всегда боялся, что его кто-нибудь увидит и пристыдит.

Илия подбежал к Аркадию и помог ему поставить засов.

– Отведешь того калеку в овчарню, пусть ляжет между овцами. Что смотришь, кто ты такой, чтобы судить? – сказал Аркадий, нервно почесал бороду и посмотрел на мальчика, грозно надув щеки. Илия молча пошевелил губами, повторив то, что ему сказали и уверившись, что понял все правильно и направился к испуганному нищему. Нищий послушно пошел за мальчиком – опираясь на палку: он скакал на правой ноге, волоча за собой замотанный левый обрубок. Горбатый, уродливый, убогий он распространял вокруг себя невыносимый смрад фекалий, мочи и грязи, а также какой-то отталкивающий холод, неуловимо связанный с уродством и безобразием.

– Давай, иди, я тебе ничего не сделаю, – успокаивал калеку Илия, ведя его через двор мимо деревянных келий, в которых спали монахи. Возле дальних келий, повторяя форму округлых монастырских стен, стояли хранилища для жита, ржи, овса, корма для скота, небольшая кузница и глубокий обложенный камнем подвал для вина и ракии, которые монахи делали сами. Поскольку церковь была построена всего лет десять назад, в ней еще не было отведено особое место для монашеского кладбища. По традиции, настоятелей и некоторых из видных уважаемых монахов хоронили возле внешней стены церкви, а простых монахов – в церковном дворе или за его пределами. Аркадий уже определил участок земли на северной стороне монастыря для настоятеля и один затененный бесплодный участок с внешней стороны монастырской стены для обычных монахов, хотя Владимир говорил, предсказывая будущее, что, мол, что кости всей братии, и его вместе с ними, лягут в основу новой церкви и поэтому места для кладбища искать не следует.

Монастырь был построен для большого братства, но поскольку времена были трудные, а люди бедны, дики и безбожны, то храм, защищенный стенами, рос медленно.

– Ну что ты застрял, заходи – Илия потянул нищего, недоверчиво стоявшего перед входом в хлев, который был пристроен к стене в самой южной части монастырского двора, – Здесь тебе будет хорошо, заходи, – повторил он и указал рукой в теплый мрак за обмазанными глиной стенами.

– Игумен приказал найти для тебя место, знаешь, он добрый, святой человек, – сказал Илия и, похлопав монастырского коня по широкой шее, провел ладонью по его большой голове, появившейся из темноты, и беспокойным ноздрям, которые настороженно нюхали воздух, полный человеческих запахов.

– Не бойся, просто ложись, – Илия показал нищему его место. Согретый в теплом хлеву убогий уродец что-то пробормотал и пошевелил челюстями, как будто понял слова Илии.

Потом горбатый, согнутый калека схватил мальчика за руку и благодарно поцеловал тыльную часть ладони.

– Перестань, пусти, я же не поп, – Илия вырвал руку, смущенный этим порывом уважения и благодарности, которые никак не могли относиться к нему.

– Это не я, это игумен, говорю тебе. – Раскрасневшееся лицо подростка выражало одновременно неловкость и удовольствие от того, что есть люди, для которых он лучше и важнее, чем есть на самом деле.

– Я знаю, каково тебе, – сказал Илия, – я тоже иногда думаю, что меня избегают и не любят. Говорят, что я медленный. А я просто считаю, что прежде чем сказать – надо хорошо подумать. Язык-то без костей, а кости ломает, правильно? Люди есть и хорошие, и плохие. Хотя некоторые только кажутся хорошими, а некоторые только кажутся плохими. Например, Аркадий – его нельзя сердить, хотя он добрый, но может накричать и побить, если не слушаешься. Но я знаю, что он хороший.

– Рассуждал Илия, смахивая с овечьей шкуры помет и солому. Ему нравилось, что он мог кому-то сказать то, о чем долго и терпеливо размышлял.

– Илия, Илия, иди сюда! – донесся сердитый голос Аркадия. Илия вспомнил, что экононом приказал ему немедленно вернуться. Он одернул себя в середине разговора и, махнув напоследок нищему рукой, выбежал из хлева. В отдельных загонах, сколоченных из хороших новых досок, находилась собственность и богатство монастыря: дюжина овец, одна лошадь и несколько свиней. В одном из углов хлева были собраны колотушки, рогатины, разные инструменты, деревянные колеса и сломанные бочки. В монастыре ничего не выбрасывали – то, что могло пригодиться и представляло хоть какую-нибудь ценность, хранили и использовали при надобности. Особенно об этом заботился Аркадий. Он говорил, что однажды монастырь получит от Строимира еще земли и тогда ему потребуется много рук, а рукам потребуются самые разные инструменты, поскольку тогда будут построены здания для важных и набожных гостей, да и многое еще чего.

Нищий устроился между овцами, радуясь теплу. Он потер замерзшие конечности и вытянулся на сене, наслаждаясь теплым надежным кровом, от которого давно отвык. Лаская доверчивых любопытных овец, убаюканный затхлым запахом животных, которые долго не выпускали на воздух, калека мычал одну какую-то только ему понятную мелодию.

За кухней находилась отгороженная деревянной стеной монастырская трапезная. Строгое помещение было украшено неуклюжим изображением Тайной вечери и разделено посередине длинным деревянным столом к которому с двух сторон был приставлены лавки. Во главе стола стоял единственный стул, предназначавшийся настоящему хозяину трапезы – Иисусу Христу. С правой стороны сидел игумен Владимир, а рядом и напротив – монахи. Братия монастыря Святого Николая состояла из восьми монахов, но сейчас за столом их было шестеро. Двое молодых монахов с разрешения настоятеля несколько недель назад отправились в распоряжение Строимира, чтобы писать какие-то письма, которые воевода отправлял великому жупану. На деревянных стенах, защищенных от ветра и холода прутьями и рогожей, не было ни окон, ни резных деталей, ни украшений, а только один деревянный крест с изображением Христа и крупными греческими буквами. Из кухни от закрытой каменной печи шло приятное тепло, которого было достаточно, чтобы тихо и быстро, как того требовали пристойность и правила, всем вместе принять пищу. Жизнь текла по строгим, ясным законам: еда служила только для поддержания тела и не смела становиться поводом для удовольствия или долгой пустой болтовни, от чего монахи оберегали себя, следуя учению Святых Отцов. Стоя со опущенными головами, братия монастыря Святого Николая закончила произносить благодарность за хлеб и соль и села в тишине за стол, чтобы успеть поесть до наступления мрака и начала воскресной всенощной службы. Они по очереди и возрасту брали из большой, выдолбленной деревянной чаши густую овсяную кашу. Простая постная еда подавалась не столько из-за строгих правил,

сколько из-за бедности и недостатка вследствие затянувшейся зимы. Монахи собирали урожай с маленького участка земли рядом с монастырем и в далеких садах в горах. Кроме того, им помогали дарами и верующие из окрестных деревень. Но нынешняя зима была долгой, крестьяне и сами недоедали и поэтому свои скромные дары приносили все реже. Хотя у Строимира было всего в достатке, он не любил предлагать и давать сам, без мольбы и вопросов. А игумен, хоть и корил себя часто за грех гордыни, не мог себя заставить лишний раз попросить воеводу о помощи.

С кашей подавали гречневую лепешку, разломленную на равные части. На столе, отполированном из-за долгого использования, стоял и большой деревянный кувшин с холодной водой из надежного безопасного источника. Трапезничали всегда в строгой тишине, в соответствии с датами и праздниками из Святого Писания, но сегодня за столом царило странное беспокойство. Игумен догадывался, что его стадом овладели сомнения и страх, и они связаны не только с гневом и насилием Строимира.

– Говори, Исаия. – наконец произнес игумен, тщательно вытер ложку и черпнул ею по дну посуды. Потом он вылил ее содержимое на нетронутый кусок лепешки и протянул его Илие, сидящему в конце стола, чтобы он отнес его убогому. Аркадий, увидев, что игумен весь свой хлеб послал нищему, до крови прикусил губу, чтобы заставить себя молчать, но его шея под коротко подстриженными волосами покраснела от гнева.

– Говори, Исаия. Я вижу, что тебя что-то мучает. – повторил игумен.

– Святой отец, – встал епископ Исаия, худой, сухой человек в тех годах, когда молодость осталась в воспоминаниях, но старость еще не отобрала быстроту движений и ясность глаз.

Исаия был тих и скромен, хорошо писал и имел звучный приятный голос, выделявшийся при пении гимнов и псалмов. Поэтому, по желанию игумена, он читал диптихи, следил за точностью начала богослужения, за совершением заупокойных служб, за чистотой и порядком в храме. Кроме своего послушания, Исаия, далекий от мира, с легкой потусторонней улыбкой иногда писал иконы и фрески.

Жесткими и медленными движениями, которые он сам не умел ускорить и смягчить, он рисовал лики святых и Спасителя, имитируя те, которые видел в больших и известных храмах. Впрочем, результат ему часто не нравился, и он немного стыдился своих икон и долго потом не мог заснуть, раздираемый сомнениями в себя и в свой талант. Неуверенный и неграмотный, лишенный помощи и совета более опытных мастеров, боящийся, что все, что он делает – богохульно и грешно, неумело и недостойно, убежденный, что ошибся и неверно понял призвание иконописца, он страдал, когда видел несовершенство в изображенных им святых ликах. Он никак не мог угадать и поймать далекий, вечный покой Божьих угодников и рисовал их не святителями, а крестьянами с неуклюжими мозолистыми руками, которые благословляли человеческий род, и это никак не вязалось со святыми одеждами, украшенными, любовно выписанными им золотым шитьем и жемчугом.

– Сегодня многое можно было услышать среди людей и торговцев, отче, – сказал немного смущенный Исаия, опустив глаза, – рассказывали невероятные и неразумные истории.

– Зачем же ты их слушаешь, если они неразумные, – тихо, почти про себя произнес Владимир, остановив Исаию и, подняв палец, сказал, – только Господь свят, а мы все – пыль и грешники. Только ему решать, что неразумно, а что нет.

– Прости, отче, – опустил светловолосую с проседью голову Исаия и потер одну ладонь о другую, как всегда делал, когда был чем-то озабочен. – Но говорят, что больше нет ни Греческой империи, ни императора, ни православного патриарха в Царьграде. Что теперь царствуют латиняне, а Папа Римский – глава каждого христианина, – Исаия сам был испуган тем, что рассказывал настоятелю. Взгляд его голубых нерешительных глаз на худом лице выдавал смя-

тение, когда он пересказывал то, о чем говорили крестьяне украдкой и шепотом, крестьясь и не смея поверить.

– Разве это возможно, отче? Ведь царство – от Бога и не может же быть, что земля есть, а царя и патриарха нет? – спрашивал Исаия, недоумевая, что может быть мир без правил и неизменного порядка. Он был уверен, что последние времена наконец наступили и люди должны погибнуть и исчезнуть.

– Да говори, как есть! – перебил Исаию монах, стоявший рядом. Это был беспокойный щуплый старичок, который забрел в монастырь пять лет назад. До тех пор, пока не присоединился к благочестивой братии монастыря Святого Николая, Феофан паломником шел от храма к храму, проповедуя учение Иисуса и никак не мог задержаться в одном месте. Будучи неграмотным самоучкой, он рассуждал с людьми об их сомнениях и вопросах, на которые и сам не имел ответа. Знал и помнил он многое, но часто искажал даже самое простое.

Набравшись на скорую руку беспорядочных знаний, он противоречил сам себе в каждой фразе и поэтому путался сам и путал тех, что его слушал. Когда он слышал кого-то, кто казался ему мудрым и ученым человеком, или что-нибудь захватывающее и неизвестное, то озарялся и страстно начинал верить в новое, оставляя легко свои ранние убеждения, предаваясь новым открытиям как новой любви – безоговорочно, воодушевленный речами, которые он воспринимал скорее сердцем, чем знал и понимал. Каждую мысль, которую он запоминал, каждое произнесенное слово он, уверовав в них, произносил задорно и без колебаний. И ради веры этой он был готов к любым страданиям, веря, что таким образом становится ближе к святым и апостолам. Он любил утешать и страстно проповедал, рассказывая о вечной жизни и высшей справедливостью в лучшем мире, предназначенном для праведников и мучеников. А когда ситуация была сложной, то Феофан, оставшись без помощи слов и поддержки привычных церковных фраз, умел плакать и плакал вместе с людьми, сопереживая им и жалея и их, и себя.

Маленький, хрупкий, он страдал от какого-то зуда, из-за которого даже зимой чесался, но упрямо отказываясь от бальзамов, лекарств и от купания. Лысый, с рябым лицом, на котором горели черные вечно удивляющиеся глаза, он всегда первым лез в разговор, перебивая и мусоля свою бороду – привычка от которой он никак не мог избавиться. Феофан тяжело приспособившись к жизни, устроенной по монашескому уставу и часто вполголоса ворчал, хотя даже строгая монашеская жизнь была легче, чем одинокая отшельническая жизнь в горах и лесах, в суровых скитах.

– Спроси настоятеля, что ему сказал господин Строимир и что нам делать, если патриарх, которого мы упоминаем в молитвах – латинянин. Вот что я думаю, – говорил Феофан, влезая в разговор без разрешения, увлекаясь и отталкивая рукой Исаию.

Он уже был готов рассказать какую-нибудь историю из своей бродяжьей жизни, вполне возможно, придуманную. Но зашумели и загалдели остальные монахи, торопливо рассказывая о том, что что они слышали и что думают о необычных новостях. Молчали только Аркадии, который едва сдерживался, чтобы не накричать на болтливую братию, и игумен Владимир, терпеливо слушающий потоки слов, рвущиеся из уст возбужденных монахов.

Илия стоял, растерянно переминаясь с ноги на ногу, с куском хлеба, с которого капала каша, и глядел на кричащих монахов, забыв куда и зачем он пошел.

– Да какой там патриарх-латинянин, Феофан. Ты, должно быть, в скитаниях своих слышал звон да не знаешь, где он, – обратился к старичку келарь Данило, широкоплечий седой человек с открытым грубым лицом и карими добрыми, немного навывкат глазами.

Перед постригом он был мелким торговцем, умеренно жадным и почти не жульничал. Какой-то богатеи отнял у него все имущество и он, разоренный и сломленный, оставленный детьми и вечно требующей денег насмешливой женой, которая его не любила никогда, решил все оставить и искать покоя за воротами монастыря. Из-за опыта мирской жизни, Данило получил послушание – заботиться о монастырских деньгах, покупать еду и другие товары у кре-

стьян, торговаться с жадными торговцами и брать плату за торговые прилавки в монастырском дворе. Когда-то, когда он был моложе и крепче, он и сам отправлялся в долгий путь, чтобы купить еды и нужные для монастыря вещи. Но после того как подагра свалила его с ног, он большую часть времени проводил возле печи, жалуясь на боли и призывая смерть, к которой он, хотя и был монахом, вовсе не был готов. Он вечно о чем-то спорил и перепирался с бродягой Феофаном, но только с ним мог поговорить о прошлой мирской жизни, вспомнить путешествия, названия городов и площадей, где он бывал, пил и работал.

– Никакой латинянин не может быть патриархом и нет той силы, которая сможет разрушить православное царство! – убежденно крикнул келарь Данило, продолжая спор с Феофаном. Монастырский трапезник, самый молодой монах Самуил – худой, юркий, со светлыми густыми волосами и нежными длинными руками, захваченный общим криком тоже порывался что-то сказать, но каждый раз, когда он открывал рот, его останавливал взглядом или голосом кто-то из старших. Он закрывал рот, краснел и разводил руками. Его беспокойная живая молодость не давала внутреннего покоя, который ведет к размеренной речи к чему он искренне и упорно стремился с тех пор как познакомился с игуменом Владимиром и решил провести свою жизнь так, чтобы во всем походить на него.

В настоятеле он видел отца, которого он хотел бы иметь и поэтому так к нему и обращался, а в его словах искал поддержку и надежду, пример и путь. Его восхищали мягкий нрав и тихая мудрость Владимира. Он повторял его слова, следил за его взглядом, копировал жесты и даже, как и игумен, начал горбиться, хотя был высок и крепок телом. Остальные монахи дразнили его из-за этого: встречая его в темноте они делали вид, что обознались, называя его игуменом и хохотали потом. Самуил в такие моменты краснел, молчал, стараясь оставаться спокойным, как игумен, и сдерживал в себе молодое дерзкое желание ответить им также дерзко и шумно. Владимир научил его читать и писать, и он, будучи терпеливым и прилежным, использовал каждую свободную минуту, чтобы читать таинственные и драгоценные книги, которые игумен привез из Греческой империи.

– Илия, – слегка повысил тон игумен, – Ты еще здесь? Не пристало тебе слушать разговоры старших.

Илья быстрее, чем это обычно делал этот добродушный и медленный подросток, побежал к выходу.

– Братья, – прервал разговорившихся монахов Владимир тихим, но заставляющими себя слушать голосом, и они, немного стыдясь своих тревожных речей, опустили глаза и замолчали.

– Царство – от Бога, есть оно или нет. Мы должны служить Господу, никогда ничего не меняя – потому что мы не знаем, как и почему творятся земные дела. Устройство на земле – это образ небесного Иерусалима, и мы ему служили и будем служить. Да, воевода Строимир обеспокоен и поделился со мной новостями, про которые мы не можем знать точно – правдивы они или нет.

Только Бог знает, что есть истина и Он видит ее в сердцах людей. Если империи больше нет, она появится опять. А вот если мы согрешим против Божьего учения и порядка, дарованного нам Всевышним, то раз и навсегда потеряем шанс для спасения души. Поэтому ничего не изменится и порядок молитв останется неизменным, как это было всегда. А что есть истина мы узнаем, когда придет время. Приготовимся же, братья, настал час отдать наш долг Господу, – закончил игумен, вставая.

В трапезную вернулись тишина и порядок. Монахи – по старшинству и возрасту – последовали за настоятелем переодеваться и готовиться к всенощному бдению. Ночь спускалась на горы, с гор – в долину и монастырь, и монахи заспешили, чтобы не опоздать на службу. Игумен Владимир был мягким и тихим человеком, но он не прощал, если кто-то опаздывал на встречу с Богом.

Торопясь выполнить приказ настоятеля, Илия чуть не упал на входе в хлев – снаружи начало темнеть, а внутри уже давно был мрак. Илия, немного пугаясь темноты, громко позвал нищего. Прямо перед ним, из сена показалась уродливая голова. Горбун что-то бормотал и тянул руки к куску хлеба. Илия дал нищему хлеб и улыбнулся, стыдясь своего детского беспричинного страха и сердясь на себя за то, что испугался этого убогого грязного подобия человека. Благодарный нищий шумно ел лепешку и холодную загустевшую кашу, жевал и выпускал неразборчивые гортанные звуки удовольствия.

– Ну, я тебе все принес и сейчас иду в церковь. Может, и ты хочешь прийти; только я не знаю, будут братья сердиться или нет, – сказал Илия, задумчиво почесывая лохматую рыжую голову, – в общем, как знаешь, приятного аппетита, – улыбнулся он нищему и побежал в сторону церкви, из которой уже доносились звуки пения.

Сквозь узкие, неравномерные высокие прорези на единственном куполе храма пробивалось немного света. Ночью церковь освещалась лампадами и свечами и фрески производили сильное впечатление – почти невидимые и строгие. Тому, кто понимал и мог объяснить чудесный небесный порядок, который представляла церковь, не нужны были глаза, чтобы сказать, где и что находится на его стенах. Под куполом, расписанном ликом Христа Вседержителя, находилась картина преображенного мира и Вселенной: склоненные головы пророков с измученными лицами, которые глядели вдаль, сообщая о пришествии Сына Божьего, а за ними, чуть ниже центра Вселенной – лика Иисуса, шли евангелисты и многочисленные мученики – свидетели страданий Христа. В восточной части храма, перед возвышающимся алтарем с неумело нарисованным Христом на кресте с правой стороны стояла икона Богородицы и икона защитника монастыря Святого Николая, а с левой – икона святого Иоанна Предтечи в верблюжьей шкуре, пророчествующего и напоминающего о близком конце. Здесь же сейчас стоял игумен и отвечал на вопрос иеродиакона.

– Владыка, благослови, – молитва началась с упоминания имен ромейского императора, царградского патриарха, императорской семьи, двора и армии, затем молились чтобы Господь помог и покорил всех неприятелей и противников, бросив их к ногам императора. Монахи молились за столицу и за каждый город, край, за каждый кусок земли, где жили православные земли. Молились за всех живущих там в согласии с верой. Молились за все души – усердно, по правилам, хотя сегодня их мучили сомнения и тревога. После каждого имени, произнесенного настоятелем, монахи пели Господи помилуй, ища в звуках святого имени поддержку и веру. Это было воскресенье, и они упоминали о Воскресении Христа.

Шестеро монахов, каждый на своем месте, повторяли выученные слова и разными, но гармоничными голосами, среди которых выделялся голос Исаии, вторили словам игумена. Лампадки под иконами освещали сдержанные лики святых, рассказывая свою историю, которая разворачивалась перед ними на фресках. История о Богочеловеке и его страданиях, о рае и аде, где оказываются все – по заслугам и Божьей милости, когда короткая и несчастная человеческая жизнь, наконец, заканчивается.

В воскресение проходило всенощное бдение – более торжественная и длительная служба, чем в остальные дни. Без нетерпения, со спокойной уверенностью в правоту того, что они делают и говорят, монахи повторяли древний ритуал примирения человека с Богом, после всегда которого наступает тихое умиротворение – ради чего они и пришли в монастырь, скрываясь от грешного шумного мира. Молитвы возносились вверх, сплетаясь с дымом дорогого редкого ладана, приобретенного далеко-далеко с большими сложностями и за большие деньги. Молитвы были единственный возможный путь к Богу и объясняли смысл человеческого бытия.

Илия наблюдал за службой стоя на паперти. Он смотрел на монахов, облаченных в торжественные одежды – бережно хранимые, надеваемые только по воскресеньям и праздникам – и его, как и всякий раз, восхищал образ божьих слуг перед алтарем. Согласно обычаям и церковному праву, во время богослужения на паперти находились оглашенные: некрещенные, ере-

тики, иудеи, кающиеся, язычники и все те, кто мог с болью и раскаяньем только приблизиться, лишь со стороны коснуться таинства христианской литургии, которого они были лишены. Оглашенные стояли в мрачной удаленной части церкви, далеко от алтаря и Божьей милости, на единственном месте, до которого им позволялось приблизиться. Илия к ним не относился, но по-прежнему стоял далеко от монахов, скрытый в тени сводчатого входа, и, оставленный без всякого присмотра, шевелил губами, вспоминая и распознавая звуки и действия – он гордился собой, если без ошибки мысленно предвосхищал какой-нибудь звук или жест. Он был счастлив, что принадлежал братии и тихо, радостно, из темноты, следил не отрываясь за монахами, в то время как они собирались, молясь и утешая мир. В такие моменты редкий, желанный покой воцарялся среди братьев, как будто они составляли круг – древний, строгий. Оставаясь наедине со своими мыслями и обязанностями, успокоенные знакомыми лицами и словами, они чувствовали себя защищенными и спасенными от неизвестности и страха, греха и боли.

Илия не понимал слов, которые произносил игумен, не разбирался кому и какие поются гимны, но он знал, что его место здесь и что в церковном пении скрываются все ответы на тайны, которые он пока не понимает, но которые ему обязательно откроются. Восстанавливая память о тайне молитвы и первых христианах, скрывающихся под землей от насилия безбожных римских императоров, монахи восторженно бдели до утра. Всенощное бдение включало вечернюю и утреннюю службу и заканчивалась благословением хлеба, вина и масла.

Сидящий в теплом мраке хлева нищий вытер с губ овсяную кашу и прислушался: кроме звуков домашних животных и далекого тихого гула монашеских голосов, ничего не было слышно. Медленно, как будто все еще не был убежден, что находится в хлеву один со спокойными доверчивыми овцами, он начал разматывать тряпки на голове. Повязка спала и под слоями грязной порванной ткани оказалось прочное темя, покрытое седыми спутанными, но довольно густыми волосами.

Человек оттолкнув овец, тщательно умылся водой из корыта, освобождаясь от птичьего помета и грязи, которыми ранее измазал лицо, изменив его черты до неузнаваемости. Вода смывала грязь и открывая решительное строгое лицо – сухое и темное. Оно было без бороды и усов и изборождено шрамами разной давности и глубины. Человек поднес кулак к сломанному кривому носу, болезненно поморщился, высморкнувшись кровавой слизью, затем размотал тряпки на «культе» и выпрямил согнутую левую ногу, стянутую длинной тканью. Теперь он не казался ни хромым, ни горбатым. Боль от заструившейся по жилам крови заставила его сжать зубы и в то же время помогла противостоять внезапной слабости. Собранный с силами, он выпрямился и, преодолевая боль, осторожно оперся на левую ногу. Одетый в обноски и лохмотья, он потянулся и помахал длинными узловатыми руками, чтобы привести в порядок мышцы и кости. Низкого роста, с широким сильным телом, он теперь ничем не напоминал нищего, который уродством и убожеством своим отталкивал от себя людей.

Лицо воина с холодными, строгими синими глазами, выглянуло из дверей хлева. Ночь своим покрывалом окутала и монастырь, и страну великого жупана Вукана. И хотя незнакомец знал, что никто из монахов не выйдет из церкви до утра, он тихо и осторожно двинулся вдоль стены к надежно запертым воротам. Сторожевая башня, охраняющая вход в монастырь, стояла без присмотра. Было воскресенье, самый святой день недели, и даже осторожный Аркадий не стал заставлять Илию сидеть в башне, поскольку знал, как сильно мальчик любил слушать литургию.

– Что может случиться? – подумал Аркадий, упрекая себя в том, что не попросил воеводу Строимира оставить им охранника из сопровождения. Человек еще раз прислушался и поглядел вокруг, дрожа от холода, обжигавшего его голые руки и ноги. Он поднял голову и взгляделся в тусклый свет, идущий из церкви, напряженный как зверь. Принюхался, приложил сжатые ладони ко рту и завыл, подражая вою одинокого голодного волка. С другой стороны стены ему ответили таким же воем.

Лишь со второй попытки он открыл тяжелый дубовый засов на внутренней стороне ворот – после первой он остановился, переводя дыхание и стараясь успокоить ноющие мышцы, а потом опять толкнул засов плечом, упираясь ногами в скользкую мерзлую землю. Сильные плечи, привыкшие к тяжестим и мускулистые ноги с крепкими икрами, сделали свое дело: засов со скрипом поддался. С внешней стороны нетерпеливые руки толкнули ворота, освободив узкий проход. Через него быстро просочилась дюжина неслышных теней, вооруженных дубинками с железными набалдашниками, пиками, короткими ножами и рогатинами. Один из них молча протянул старшему меч и тот, довольный, его взял. Сейчас, без маски нищего, разбойник совсем не выглядел немощным, с удовольствием разминая руки четкими выверенными движениями. Указав острием меча на церковь, он вместе с тенями пошел по направлению к главному входу.

– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... ибо знает Господь путь праведных, – запел игумен, но вместо ответа монашеских голосов, жалобно и зловеще заскрипели церковные двери и в церковь ворвался ледяной воздух зимы и зла, а за ним люди в одежде из кожи и шкур, к которой были прикреплены куски дерева и металла – дешевой имитации дворянских доспехов.

Впереди разбойной компании стоял человек с тяжелым взглядом. Илия глядел на них во все глаза и напряженно думал, почему этот человек, который в церкви держит меч, напоминает ему нищего из хлева. До того, как он что-то решил, чужие цепкие руки схватили и грубо бросили его на чистый деревянный пол церкви, а чья-то нога придавила его лицо. Остальные разбойники бросились к испуганным монахам, слишком растерянным, чтобы думать о сопротивлении. Прижимаясь друг к другу, они не могли говорить от страха.

Аркадий, разъяренный нападением, первым пришел в себя и в качестве оружия поднял Святую Трапезу, сбросил с нее покрывала, антими́с с чудотворными частицами и замахнулся на ближайшего разбойника. Монахи, окружившие игумена только мелко крестились, глядя на Аркадия, который стоял между алтарем, предназначенного показывать людям рай и небо и грабителями, наступающими ис паперти – места грешного существования, живущих на ней людей.

Аркадия пугали голодные и суровые глаза нападающих и пугала борьба, в которой он не мог победить. Он неуверенно и тяжело замахивался на ухмыляющихся разбойников и кривился от боли, когда они его кололи длинными острыми пиками, легко и привычно отскакивая назад, и смеясь этому безопасному и приятному для них развлечению. В середине игры, которая могла бы длиться еще долго, на Аркадия с предчувствием удовольствия от победы над другим человеческим существом, устремился предводитель шайки. Он спокойно позволил Аркадию сделать шаг вперед, вытянуться, замахнуться, промахнуться и таким образом дать нападающему возможность вонзить короткий широкий меч глубоко меж его ребер. Высокий молодой эконо́м, пронзенный медленным твердым металлом, упал на колени, и пока падал, умирая, бессильно и яростно взмахнул пустыми руками в тщетной попытке, нанести вред своему убийце.

Плененные монахи со связанными за спиной руками были вынуждены встать на колени перед иконостасом. Илия, закашлявшись из-за густой крови из носа, которая стекла в рот, заставляя задыхаться и вызывая рвоту, стоял между ними и испуганно смотрел на игумена. Разбойники подходили к ним, сдирали с них части одежды, били, смеялись, ругались требуя сказать, где находится сокровищница монастыря. Увы, ее не было в скромном монастыре и их добыча оказалась довольно скудной: грабители забирали потиры и чаши, считая их редкими и ценными и складывали их на церковный флаг на полу.

– Завида? – спросил стоящий на коленях игумен и поискал взглядом пустые далекие глаза предводителя.

– Завида, игумен, – ответил разбойник, вытирая кровавый меч о его торжественное облачение. – Тот самый. Вижу, ты про меня слышал.

– Слышал, да не верил, что вот так с тобой познакомлюсь, – ответил игумен, глядя на главаря шайки, известного своей жестокостью. О нем знала вся страна великого жупана Вукана, о нем говорили, его боялись и презирали.

В стране, где любое сопротивление власти, государству и судьбе вызывало скрытое, но искреннее уважение, Завида, напротив, не вызывал ни улыбки, ни малейшего восхищения, о нем не слагали тайных песен. Впереди него шли презрение, страх и ненависть. Никто не знал, откуда он появился, кто его родители, настоящее ли у него имя или это кличка, известная только тем, кто посвящен в тайну, принадлежит ли он какой-нибудь церкви, молится ли какому-нибудь богу, признает ли кого-то или что-то, любит ли? Казалось, что он появился ниоткуда и из ничего, словно был послан в наказание и без того несчастной стране, которую часто разоряли войны и внутренние раздоры.

Говорили, что он настолько бесчеловечен и злобен, что задушил свою мать последом во время родов. А еще говорили, что зло, которое он носит в себе и с которым, без сомнений, он подписал договор, дало ему исключительную внешность и способность привлекать и очаровывать жертвы перед тем как он их убьет или ограбит. Правда, если человек – это добро, то зло глазу человеческому или другим таким же неверным органам чувств должно представляться чем-то необыкновенно приятным, ибо как по-другому можно привлечь души, жаждущие гармонии?

Впрочем, люди не так много времени тратят размышляя о внешних проявлениях добра и зла. Люди знают, что они созданы Богом для того, чтобы прожить жизнь – короткую и бессмысленную. А вот чем они эту жизнь наполнят и как проживут – это зависит от них, слабых и несчастных. И кто с чистым сердцем мог бы сказать, что знает, что есть добро, а что – зло, и одинаковы ли добро и зло во все времена, во всех странах, во всех верах и во всех душах? Может, поэтому людей нельзя винить. А судить имеет право только небо, которое разверзнется однажды призывая на суд. Но небо молчит, а суд вершат люди, которые властвуют над другими людьми и поэтому их суд не похож даже на отзвук небесной справедливости, о которой человек грезит и за которую редко борется, жертвуя собой.

Завида для своей страны и своего времени являлся абсолютным злом, и те, кто жил рядом с ним, зная о его существовании, боялись его на уровне почти священном. Потому что Завида убивал иначе, чем привыкли убивать в это время, когда убийство было каждодневной привычкой, а крестьяне убивали других себе подобных ради чести хозяев, и тот, кто распорет больше животов, сохранив при этом свой, мог прославиться и заслужить уважение, свободу и может даже титул. В праведной, вдохновленной именем Бога борьбе, убивали во имя настоящей веры еретиков или иноверцев, которые были уверены в том, что не они, а те другие являются иноверцами и еретиками. И также убивали – легко и обыденно.

Завида все уверенно равнял с самим злом. После нападения Завида и его банды свидетелей не оставалось. Никто еще не выживал, чтобы потом описать как он выглядит или рассказать о том, что видел. Не было жертв, спасшихся чудом, чтобы рассказать о чуде. Не было чуда. Была смерть. После нападения живыми не оставались ни люди, ни животные, которые имели несчастье оказаться на его пути. Кровожадный и порочный, он свои жертвы не просто убивал, но и изощренно мучил, и пытки эти не имели причин и оправданий, но были абсолютно бесполезны. Когда находили исковерканные трупы, оставшиеся после нападений его банды, то всегда и без исключений знали – что это дело Завида. Только он так изощренно измывался над своими жертвами. Именно этот Завида стоял сейчас перед монахами, онемевшими от страха. Словно не интересуясь тем, что происходит вокруг него, Завида проверил пальцами острие меча, оглядел небогатую добычу и ровным голосом, не обращая ни к кому конкретно, спросил где находится тайник, в котором спрятано золото Строимира.

Игумен не ответил – он знал, что тайника нет и что Строимир никакого золота на хранение им не оставлял. Воеводу преследовали воспоминания о бедности, из которой он сумел вырваться. Жадный и недоверчивый Строимир ни за что в жизни без острой нужды, не расстался бы со своим богатством.

– Молчишь. Ну молчи. У нас есть время, чтобы заставить тебя говорить, – сказал спокойно Завида, пожав плечами. Его взгляд остановился на одной из склоненных монашеских голов.

– Тогда вот так, – вздохнул Завида, резко взмахнул рукой и ударил рукоятью меча по лицу Феофана. Удар следовал за ударом, не давая Феофану встать. Его били и били до тех пор вместо глаз монаха-скитальца не осталась кровавое месиво, стекавшее вниз по старческому лицу, искаженному болью. Странник и проповедник завершал свой земной путь, корчась на полу церкви, которая мечталась ему как тихое и укромное место, защищенное от мирской суеты и жестокости. Место, которое приведет его к спасению и избавлению.

– Сразу не умрет, помучается, – сказал Завида, потирая кровавые руки, которые, почувствовав кровь, не могли остановиться.

– Где тайник, игумен?! – спросил он опять, перекрикивая крики боли ослепшего Феофана и рыдания перепуганных монахов.

– Нет его, нет! Откуда он в этой нищете, перестань, перестань, ради Бога, – вскричал игумен, внутренне отрекаясь и от своего глупого и наивного убеждения, что он навсегда скрылся от зла за освященными стенами монастыря. Он попытался приблизиться к Феофану, чтобы сказать хоть слово перед тем, как старик умрет, но упал, споткнувшись и теперь плакал у босых, грязных ног Завиды:

– Перестань...

Завида оттолкнул настоятеля и подошел к Илие:

– Может, ты, парень, знаешь, где тайник? – он напрягся, пытаясь сохранить спокойствие, так как давно знал, что люди больше крика и шума боятся спокойствия в голосе и движениях, так как за спокойствием стоит сила.

– Ну, парень, где он? – спросил он и медленно, словно не желая причинять боль, развязал мальчику руки. Откашлявшись кровью, Илия посмотрел на Завиду и подумал, что это сон. Он никак не мог поверить, что этот человек держит игумена за седые волосы, завязанные в хвост, и небрежно их режет. За спиной Завиды стояли три разбойника, на лицах которых отражалось преданность, внимание и терпение. Они молча пилились на грудку мяса, всхлипывающую на полу, и ждали следующего шага главаря. Остальные ритмично разрушали то небольшое, что осталось целым в храме, разоряя скудное монастырское имение.

– Где тайник, парень? – спросил Завида. Монахи всхлипывали, а игумен полз к ногам разбойника, моля его:

– Не тронь его, он же ребенок, Завида.

Илия, склонив голову, тщательно обдумывал ответ. Он глядел в пол и на грязные пальцы ног человека, стоящего перед ним, вспоминая как кормил его в хлеву – сейчас он был уверен, что это тот самый нищий. Скованный страхом и кровью, Илия, сжав губы, думал, зная, что то, что он скажет – очень важно и что отвечать надо четко и ясно. Он посмотрел на игумена и на заплаканных потрясенных братьев, языком очистил зубы от остатков крови и сказал:

– Нет тайника.

Потом он поднял голову и расширив глаза, стал ждать, что ответит Завида. За спиной разбойника, в свете лампы, Илия видел строгого и праведного архангела Михаила, держащего в огромных тяжелых руках весы и огненный меч.

– Есть! Где он?! – прервав молчание, закричал Завида. Не в силах больше сдерживаться, он нанес мальчику удар отсекая высоко над запястьем мозолистую, потрескавшуюся от холода почти детскую худую кисть.

– Тайник, где тайник?! – рычали трое разбойников за спиной Завида, и били, резали монахов, волоча их по полу. Остальные бандиты, привлеченные, вернулись в церковь, чтобы помочь им и закончить то, что их главарь начал. Они с искренним удовольствием били и даже кусали связанных людей, задирали их одежду, смеялись и пускали кровь из белых слабых тел, измученных постами. Были и те, которые больше кричали и шумели, чем издевались, опасаясь, что остальные и особенно Завида, заметят отвращение, с которым они смотрели на трупы на полу и на кровь, которая текла повсюду – более жидкая, чем вода.

Аркадий, Феофан, Исая, Даниил и Самуил лежали мертвые и изуродованные. Их знания, ошибки, заслуги, частые человеческие слабости и редкие достоинства были смешаны с кровью и освобожденными телесными соками, потеряв всякую ценность – словно никогда и не существовали. Разъяренные разбойники рубили на куски их мертвые тела в то время как Завида продолжал мучить искалеченного мальчика, не давая ему умереть и избавиться от боли. Илия, вырванный из милосердного беспамятства, сквозь кровавый туман в неверии, глядел на свою отрубленную кисть и безуспешно пытался понять – можно ли до нее дотянуться и каким-то образом вернуть на место. Ослабев от потери крови, он почти не почувствовал, как Завида, схватив его за непослушные рыжие волосы, привычным быстрым движением перерезал ему горло. Еще несколько мгновений Илия бессознательно пытался вдохнуть воздух, после чего испустил дух.

Настоятель, живой и почти невредимый, брошенный на пол, с бородой и лицом, замазанными кровью, заставлял себя и свои мысли обратиться к именам убитых и молиться за них Богу. Но он не сумел подняться от отчаяния до молитвы и его переполнило чувство стыда и отвращения к самому себе за то, что страх изменил, уменьшил и унизил его. Его окружили разбойники и их людоедские лица освещал неверных свет лампад. Насильники, возбужденные грабежом и убийствами, вдыхали запах страха жертвы и с трудом сдерживались от расправы. Их останавливала привычка слепо подчиняться Завиду, который хрипло и громко дышал, устав от убийства.

– Нет тайника, говоришь? Ну, тогда на кой ты мне нужен, – разочарованно процедил почти успокоившийся Завида. Он приподнял старика с пола и посмотрел ему в глаза, требуя его, скрытого за пеленой крови и слез, ответного взгляда. Игумен, униженный страхом мучительной смерти, окружившей его со всех сторон, заплакал, закричал сквозь бороду и редкие зубы:

– Завида, я отпущу тебе грехи, позволь искупить тебя перед Богом, сын мой. Бог поймет и простит, не делай этого!

– Ты не заслужил того, чтобы отпускать мне грехи. – прошептал Завида и медленно, без удовольствия, без сожаления, всадил меч в живот старика. Лезвие целиком вошло в игумена Владимира, он открыл рот и издал болезненный шипящий звук – то ли воздуха, то ли последней молитвы. Чем глубже меч входил в слабое, легкое тело монаха, тем ближе лицо Завида приближалось к его лицу. Миллиметр за миллиметром, словно скользя по кровавому лезвию, старик приближался к своему убийце, пока их взгляды и дыхание не смешались. Почти касаясь лица старого монаха, Завида прошептал:

– Твоему Богу нечего мне прощать.

Он искал в тускнеющих глазах старика знаки того, что тот понял его слова, и нашел – игумен понял.

Вытащив меч из мертвого тела, Завида подождал тупого мягкого звука падения и оттолкнул ногой труп старика. Под рясой мертвеца он увидел длинную рубашку из грубой шерсти, которую монах носил в течение многих лет, наказывая этим свою грешную и слабую плоть. С мышцами, дрожащими от напряжения и какой-то усталости, Завида повернулся к разбойникам и приказал собрать добычу и уходить, а храм сжечь. Сам он остался в алтаре, окруженный изуродованными до неузнаваемости телами. С церковного двора доносились голоса руга-

ющихся людей, которые делили добычу, и звуки блеющей, выгнанной на холод скотины. Овец и свиней погнали в ночь, а монастырские телеги и повозки загрузили мукой, маслом, вином и шерстью – всем, что смогли найти и унести с собой.

Близился рассвет, и разбойники спешили. В церкви Завида перед уходом сломал деревянные кресты и иконы, написанные на сухих досках, разложил из них костер в алтаре, взял книги настоятеля, прикинув на глазок сколько весит серебро на них и спокойно, не оглядываясь, вышел из горящего храма, где огонь пожирал все следы и очищая память.

## 3



В Константинополь возвращалась жизнь в город, в котором больше не было законной власти, правил и порядка, жизнь возвращалась медленно и мучительно. После трехдневного грабежа, о котором больше не вспоминали, люди, выгнанные из нор бедой и нуждой, выходили на улицы и пытались восстановить свою жизнь. А те, что грабили и бесчинствовали, редко и без особой охоты вспоминали дни абсолютной свободы. Отрезвев, они осознавали, что прощения, которое отменило бы все совершенные ими грехи, не будет и трусили, предчувствуя расплату и наказание.

Выжившие жители столицы благодарили Бога и судьбу за то, что остались живы, хотя все еще боялись повторения погрома. Люди, веря в силу слов, надеются, что если они о чем-то не говорят, то этого нет или, по крайней мере, не случится. Ведь словами они могут вызвать воспоминания о беззаконии, а безвластие и насилие возвращаются быстрее, чем уходят, поэтому лучше и не вспоминать. В императорском дворце на берегу Золотого рога, наемные греческие работники в длинных синих рубахах, подпоясанных широкими ремнями из коровьей кожи и белых кожаных сапогах тихо и послушно выполняя приказы новых хозяев, удаляли со стен зданий следы бесчинств и пожара.

Над широкими входными дверями императорского дома Влахерон, опять, как и раньше сияла золотом мозаика Богородицы – той, которая «честнее херувимов и славнее, без сравнения, серафимов» и которая когда-то благословляла Греческое царство свидетельствуя о том, что здесь жили истинные правители, чтящие Бога и его законы. Люди из разных стран Запада, выделявшиеся положением и статусом, объединенные символом креста, который они носили поверх кольчуг и доспехов, заполняли звуками своих разнородных языков каменные дворы дворца и бродили по длинным коридорам, украшенным мозаикой и фресками.

Стены дворца изображали великие сражения, правителей Константинополя и их семьи, которым подданные ромейских императоров должны были оказывать такое же внимание и ува-

жение, как и живому базилиусу, истории из святых книг. Ныне в этих коридорах праздные и мающиеся от безделья крестоносцы просили приема у военачальников, пересказывали новости и истории, сплетничали, судачили о дате отправления в Иерусалим, убивали время, которое после грабежей проходило в состоянии оцепенения, в какой-то полудреме, дурманящей, манящей, ватной, которая всегда наступает великих переломных событий, необратимо меняющих жизни государств и людей.

В просторном светлом рабочем зале греческих императоров на втором этаже дворца с видом на залив, сидел старик. На голове у него была легкая шерстяная шапочка, края которой, спускаясь, прикрывали уши и тонкую морщинистую шею. Сам он был укутан в мягкую, теплую мантию с расшитым золотом символом евангелиста Марка – крылатым львом с книгой в косматых лапах. Сидя в мрачном углу зала, сгорбившись и почти утопая в массивном глубоком кресле, старик перебирал пальцами длинной костлявой руки бусины четок в виде черепов, вырезанные из слоновой кости. Несмотря на то что весна принесла в измученный город приятное тепло и благотворный, исцеляющий аромат моря, старик непрестанно жаловался на холод и влагу и приказал слугам зажечь огонь в высоких мраморных каминах, украшенных двуглавыми орлами – гербами уничтоженной империи.

Энрико Дандоло, венецианский дож, стал жителем императорского дворца в дни погрома, вселившись в этот дворец – символ императорской мощи. Силой бесспорной власти, установленной над крестоносцами и их вождами, он защитил дворец от ограбления и разрушения, объявив его своей добычей и собственностью. Неся с достоинством ношу возраста, которая была более чем обременительна – девяносто шесть лет, он мог за это поблагодарить лишь свою волю и жажду жизни, а не тело: всегда предательски слабое, которое даже в молодости не было ни сильным, ни крепким. Старость не отняла у него ни толики ума и лукавства, благодаря которым он прожил столько лет. И не просто прожил, а стал известен всему миру, ныне трепетавшему у его ног. Он был рожден для того, чтобы служить Венецианской республике и править ею. Беря пример с отца, возведенного в сан советника дожа Витале II, он научился извлекать для себя пользу из человеческих недостатков и слабостей. Грамоту и церковные тайны ему открыл дядя – патриарх Венеции, властвовавший твердой рукой над мягкими душами венецианцев. Отец его был терпеливым и серьезным человеком, который воспитал в сыне чувство долга по отношению к городу. Строгий и собранный, преданный Венеции, он не позволил, чтобы сын пошел на поводу у молодости и инстинктов, упорно следя, чтобы его не отвлекли от долга ошибки и искушения, естественные для молодости.

Энрико, управляемый строгостью, чувством долга, тонко осознающий важность семьи, ее репутации и доброго имени, и сам – без особых предупреждений и усилий – сторонился всего, что могло его дать повод говорить и думать о нем как о расточительном, легкомысленном или порочном человеке. Беззаботная и сладкая молодость незаметно прошла мимо Энрико Дандоло, но он не сожалел об этом – он словно никогда и не был молодым. Поэтому о молодости он знал мало и был так равнодушен к ее радостям. Он ждал успеха. Он ожидал величия зрелости, и он терпеливо шагал по лестнице власти, поднимаясь все выше, не совершая ошибок и не спеша – будто знал, что память о нем переживет его, его семью и современников.

Дандоло, как опытный и способный человек, знаток языков и обычаев, искусный дипломат, умеющий договариваться и торговаться с правителями, возобновил болезненные и унижительные переговоры с ромейским императором Мануилом I Комнином. Переговоры касались возвращения имущества и привилегий, которые разгневанный, гордый император-воин отнял у венецианцев, одоблив погромы венецианских купцов в Константинополе и допустив присвоение их товара и денег. Венецианская армия, собранная впопыхах и отправленная, чтобы унижить греческого императора, потерпела неудачу прежде, чем оказалась на границе с Ромеей: чума ли была причиной, плохая ли подготовка, внутренние ли распри – неважно. Важно, что

Венеция – республика славных торговцев и не столь славных воинов – получила пощечину, а поэтому решила с помощью дипломатии вернуть то, что не смогла получить силой.

В 1172 году, на причал в порту Юлиана, в сопровождении секретарей и матросов, вышел шестидесятипятилетний старик. Он был встречен насмешками цареградской толпы, собранной специально, чтобы грубо и громко высмеять сторбленного болезненного посланника. В его появлении они видели слабость и полную обреченность страны, из которой он прибыл. Посол Венецианской республики Энрико Дандоло, одинокий, растерянный, с несвойственной ему робостью искал взглядом царских сановников, которые согласно хорошо известному протоколу должны были встретить его в порту и проводить к базилевсу. Дандоло, которому было отказано в официальном приветствии и должном внимании, боялся не сколько потерять лицо, сколько остаться без головы. Тем не менее, ему пришлось пойти за молчаливым надменным евнухом, который не скрывал, насколько ему отвратительна и ненавистна его обязанность.

С умыслом оставленный без сопровождения у входа во дворец, вынужденный терпеть презрение собравшихся поглазеть на него простых царьградцев, Энрико Дандоло испытывал мучительную неловкость, которая забавляла городских стражей. Вот таким: робким и неловким он и стоял перед массивными бронзовыми дверями большого императорского дворца, там, где всегда толпятся продавцы ароматических веществ, окутанные облаком запахов, которые посетителю должны показать, что они приблизились к месту, представляющем небо на земле.

С западной стороны входных ворот возвышался ипподром с античной бронзовой квадригой. Дандоло восхитился— никогда он еще не видел такой искусной работы, а ведь до этих пор был уверен, что мастерство венецианских каменотесов и скульпторов невозможно превзойти. Он почти рассердился на себя из-за своего восторга, подумав о том, что античная скульптура больше бы подошла базилике Святого Марка в Венеции.

На северной стороне находилась огромная площадь, а ней – триумфальная колонна Юстиниана и здание сената. На юге и востоке дворец спускался к морю чередой садов, террас и балконов, созданных для отдыха и удовольствия и цепочкой зданий, где центральное место занимала дворцовая канцелярия, которая управляла огромным царством Мануила I Комнина, во Христе Боге верного царя ромеев. Где-то во дворце находилась, и пурпурная комната с мраморными полами, в которой императрица в присутствии любопытных представителей высшей аристократии рожала нового базилевса. У присутствующих было неоспоримое право и циничное желание первыми увидеть лицо царственного младенца, рожденного в пурпуре.

Наконец, долго топтавшегося у входа Дандоло провели через бронзовые двери и евнух оставил его на милость офицера императорской гвардии, чьи казармы располагались непосредственно у входа. Офицер униженно долго осматривал и проверял его. Посол был вынужден представиться, показать письма, подтверждающие его имя и должность, и поклониться офицеру в щеголеватых серебряных доспехах, который явно гордился своей силой и молодостью. Так он и ждал, склонившись смиренно. Офицер, презрительно усмехаясь, использовал и свою возможность унижить старика еще больше – он показал ему направление, где, скрываясь за казармами, находятся глубокие подвалы холодные тюрьмы для непокорных или для неугодных. А затем смеясь улыбнулся, не в этот, мол, раз.

Дандоло шел, ошеломленный размерами дворца и порядком, царившем в садах. Потом пришел еще один евнух: надменный индюк, который приказал следовать за ним. Дандоло приходилось очень сильно потрудиться, чтобы, изо всех сил стараясь сохраняя достоинство, не отстать от быстро идущего евнуха. Потный, хромающий Дандоло спрашивал себя, как же тогда выглядят новые царские палаты. С тех пор, когда на престол взошла династия Комнинов, у них появилась новая игрушка – резиденция на северо-западе, во Влахероне.

Бесконечные ряды портиков с перистилиями, украшенными растениями, бесконечное количество фонтанов и статуй тянулись и тянулись, и наконец привели Дандоло и надменного евнуха к тронному залу, где находился знаменитый атриум, увенчанный большим купо-

лом, украшенном мозаикой с изображениями побед военачальников Юстиниана – Велизария и Нарсеса.

Венецианский посол, вынужденный почти бежать за молодым легконогим евнухом в шелковых ароматных одеждах, прижав руки к больному сердцу, остановился, чтобы перевести дыхание. Он, глянув на мозаику с изображением отсечения головы какого-то побежденного короля, даже позавидовал ему: он уже отдыхает, а ему, после краткой остановки, нужно спешить, чтобы догнать надменного проводника, которого с особым уважением приветствовали проходящие, делая вид, что не замечают его спутника – латинянина. На неуверенное приветствие Дандоло они отвечали холодно или вообще не отвечали. Из портика, через тройную дверь, ведущую в тронный зал, их провели гвардейцы, вооруженные секирами – символом римской власти.

Золотой зал для приемов был погружен в тишину, несмотря на присутствие в нем множества людей. Стены и потолки, покрытые знаменами с гербами Римской империи и ее православного преемника – Византии, трофеями царей-победителей и оружием пораженных правителей, поглощали тихие осторожные звуки людей, заполнивших зал. Тут и там в помещении – этом ядре, этом nucleus-е Византии, где находилась власть и сила ромейских императоров, мелькали значительные лица: потомков прославленных семей, наследников огромных пространств, превосходивших по размеру многие западные королевства. Аристократы прохаживались по огромному залу, в соответствии с положением и происхождением, шептались, обменивались пергаментными и папирусными свитками и брали угощения, которые разносили рабы и слуги. Собрание охраняли похожие на истуканов молчаливые гвардейцы.

На посла никто не обращал внимания. Ему даже не уступали дорогу, когда он, по-стариковски неуверенно, шел, разглядывая пурпурные напольные интарсии, выложенные так, чтобы показать путь и единственный способ, которым можно было приблизиться к главной точке зала, где за золотым занавесом на престоле Соломона, сидел царь – правитель Ромейской империи. Дойдя до места, где ещё один евнух, пухлый женственный юноша, дал знак остановиться, Дандоло, склонив голову, покорно опустился на колени перед невидимым правителем к которому он должен был обратиться с мольбой и приготовился терпеливо ждать, пока владыка Востока не даст знак, позволяющий выпрямить его больную старческую спину.

Ожидая, когда наследник римских императоров покажется из-за золота, скрывающего его, Дандоло слушал громкий шепот, насмешливый и оскорбительный. Смешки, остроты, резкие уколы чужой язвительности не оставили без внимания его внешний вид: все отметили его бедное на их взгляд простое одеяние, без золотого шитья и драгоценных украшений. Злые издевки заставили его покраснеть и наклониться еще ниже. Несмотря на свою убежденность в правильности понимания мира, из которого пришел, на его опытность и равнодушие к чужой славе и величию, он на мгновение потерял дар речи, когда с высокого трона к нему громко обратился император Мануил, – величественный как бог в своих длинных одеждах из пурпурного шелка и золота. Как только басилевс перестал говорить, царский трон, охраняемый двумя золотыми павлинами инкрустированными драгоценными камнями, начал подниматься с помощью каких-то сложных, отлаженных, искусно скрытых механизмов. Механические звери перед престолом поворачивали головы, издавали звуки львиного рыка и птичьего клекота, нескладно рычали и скрипели, двигаясь без каких-либо видимых струн или нитей. Пораженному Дандоло, пораженного звуками, которые он слышал, показалось, что трон поднимается высоко к небу или по крайней мере к потолку. Испуганный шумом и потрясенный небывалой сценой, о которой его предупреждали, конечно, но величие которой все равно его сильно потрясло, он первый и последний раз в жизни почувствовал, что его победили и перехитрили.

Сбитый с толку демонстрацией власти и силы, он уступил императорской воле и подвергся откровенным насмешкам городской и царской знати, собравшейся в тронном зале – этих надменных аристократов в дорогих богатых одеждах, с ухоженными бородами и волосами,

смазанными маслом. Дандоло изо всех сил старался сохранить хотя бы остатки достоинства и репутации Республики, во имя которой он стоял на коленях перед высоким тронном.

Собрав все свои силы, он попытался что-то сказать, но был прерван звяканьем ключей в руках главного евнуха, который объявил, что аудиенция закончена, и пора запирает зал и подавать царский обед. Его заставили замолчать и отодвинули, словно предмет или неразумного невежественного ребенка, в то время как весь двор, слаженно шурша шелками, низко поклонился занавесу, спущенному перед лицом басилевса: шорох шелка – и зал погрузился в полную тишину.

Дандоло ушел опустошенный, унося с собой туманные обещания, которые не гарантировали ни компенсации за огромный ущерб, ни возврата товаров. Ушел без надежных договоров и подписанного разрешения на возвращение венецианских торговцев. Он чувствовал себя каким-то неотесанным болваном, беспомощным варваром, который должен быть благодарен за то, что ромейский император снизошел и позволил лицезреть себя, пусть и совсем кратко. Он даже был лишен утешения, пустого вежливого извинения из царственных уст: его визит был унижительным, а результат – ничтожным.

Поездка в Царьград оставила глубокое и неизгладимое впечатление: он познакомился с чувством бессилия и поражения и в ответ родилась – ненависть, глубокая и спокойная как море, которое он пересек. Смесь унижения и восхищения, которые он испытал, сделали его мстительным, посеяв в его душе пока еще неясное и мутное желание влить пощечину этому надменному и мощному царству. Он был поражен тем, что увидел и возненавидел то, что пережил. Им двигала страсть, впервые возникшая в его размеренной правильной жизни. Он больше не мог сдерживаться и желал одного – чтобы однажды он вошел в этот город как победитель, чтобы он и его Республика завладели землей и знаниями, которыми так несправедливо были наделены еретики-левантинцы. С тех пор он делал все, что мог, чтобы отомстить грекам: плел интриги, находил самые разнообразные способы, чтобы помешать им в их делах и поставить подножку, чтобы разрушить их планы и помешать в любых намерениях, о которых он узнавал.

В 1176 году, когда гордый император Мануил, возглавлявший свою армию, был поражен турками в битве при Мириокефалоне, Дандоло ликовал, продолжая с еще большим усердием делать все, чтобы приблизить падение высокомерного царства, и таким образом отомстить и наконец-то свести с ним счеты. Обильные дары, которыми Венеция щедро подкупала, падких на дорогие побрякушки, царских чиновников, сделали свое дело: сладкогласые царедворцы убедили своенравного басилевса позволить латинским торговцам вернуться в столицу империи.

Венецианцы и остальные латиняне вернулись на берега Золотого рога и продолжили торговать, хотя так и не смогли вернуть прежние привилегии и преимущества. Императоры, не менее искусные в манипуляциях с чужой алчностью, продавали права и разрешения – то генуэзцам, то венецианцам, то пизанцам, усугубляя рознь между маленькими латинскими торговыми государствами. Между великой империей и маленькими республиками постоянно вспыхивали конфликты.

В 1182 году Дандоло получил известие, что в Царьграде опять произошло ограбление латинских торговцев, что озверевшая толпа убила и изуродовала папского легата, голову которого отрезали, привязали к собачьему хвосту и оставили на поругание. И через десять лет после первой миссии Энрико Дандоло опять решился нанести визит в дерзкий город, чтобы попытаться убедить императора Алексея II Комнина вернуть привилегии, но в первую очередь – чтобы вымолить для Венеции постоянную часть города, где бы венецианские торговцы были свободны от императорской власти и могли беспрепятственно торговать.

Как и в прошлый раз, Энрико Дандоло покорно ждал, его опять также унижали, высмеивая и старческий его возраст и дряхлое тело, которое и самому хозяину уже носить было мучительно. Язвительные греки отравили его участвовать в императорской процессии, не

объяснив зачем он, подвергаясь разным неудобствам, должен ждать на улице, чтобы увидеть императора издалека, как это мог сделать любой другой человек в Царьграде. Язвительные греческие хозяева поместили его в нижней части одной из непокрытых трибун рядом с собором Святой Софии, где он один, без охраны, смешанный с обычным народом, ждал шествия процессии, хотя другие иностранные посланники, располагались на почетных местах, окруженные царскими сановниками и их вниманием.

Дандоло сидел без защиты и сопровождения, будто являлся частью массы подданных православного императора. Он чувствовал себя не в своей тарелке, его пугало простонародье, ором приветствующее процессию, он не знал, как ему быть, как себя вести и что говорить. Находясь в толпе, Дандоло молчал и тщательно скрывал растерянность и тревогу. Он старался не привлекать внимания этих людей: наемников, крестьян, военных, ремесленников и торговцев, нотариусов, школьных учителей, государственных и городских чиновников, священников, монахов и евнухов.

За закрытыми дверями Большого дворца нарядно и богато одетый император подал знак к торжественной процессии. Впереди шли знаменосцы и воины, вооруженные деревянными секирами, обмотанными прутьями, а сам царь шел в окружении знати, и гордящейся заслуженной честью. Император со строгим и равнодушным выражением лица, шел в тени большого золотого креста, который согласно легенде сделал равноапостольный Константин I. Непреклонный, изысканный, уверенный в своих силах и призвании, он шел мерным шагом, бережно неся свою высоко поднятую голову на которой сияла тяжелая корона, украшенная драгоценными камнями и золотом.

За императором Алексеем II Комнином шагали специальные отряды императорской гвардии, беззаветно преданные защите басилевса, а рядом с ними шли личные евнухи царя, которые отвечали за его одежду и удобства, и камердинеры, следящие за общим порядком. Энрико Дандоло, венецианский посол опять чувствовал, что он в этом мире чужак. Он терпеливо сносил громкие издевки, грубые шутки и угрозы, делая вид, что не понимает ругательств и не замечает презрительного отношения власти и народа. Он ненавидел, но и восхищался.

Как и в прошлый раз он едва сумел скрыть удивление и дрожь, охватившую его, когда он услышал гармоничные небесные звуки и ясную метрику хоров. Хористы приветствовали и встречали императорскую процессию гимнами во славу правителя. И это пение с богатой ритмической каденцией и непрерывным, мелодичным, завораживающим повторением, было настолько неземным, словно литургию пели ангелы в райских садах. Для хорошо подготовленных, специально отобранных певцов и остальных участников шествия, вдоль улиц установили особые фонтаны, заполненные фисташками, миндалем и вином.

Путь, по которому должна была пройти процессия, заранее выровняли и вымыли стружкой, пропитанной розовой водой. Улицы и здания, мимо которых должен был пройти император со свитой, украсили цветами, ароматными растениями и дорогими шелковыми лентами. Город коронован – говорили ромеи громко, чтобы латинский незванный гость их услышал и понял.

Прибыв к собору Святой Софии, украшенном венками из цветов и серебра, император без оружия, защищенный божественным происхождением и преданностью города, неприкосновенный и безгрешный, вошел в Великую церковь, где его встретил патриарх— епископ над епископами. В великолепных одеждах, с нагрудным крестом в золоте и сиянии дорогих камней, патриарх Царьграда, полный почтения и смиренной преданности, поприветствовал верного во Христе Боге царя и императора ромеев. Он, склонив голову, ждал, когда законный правитель выйдет из-за занавеси, за которым евнухи снимали корону с миропомазанной головы – в знак покорности перед Небесным властителем, единственным существом, вознесенным выше царя. Дандоло довели до церкви сопровождающие низшего ранга. Они быстро и без уважения провели его к дверям храма, и подтолкнули к входу, оставив одного в духоте, среди простого

люда. Огромное здание православной церкви, название которой он презирал, а учение считал чуждым и еретическим, ошеломило Дандоло блеском и величием. Он потрясенно разглядывал вздымающиеся чудесные своды, с которых спускались золотые люстры, расписанные ликами святых и апостолов; люстры, рассеивающие яркий свет свечей, которые отражались по драгоценным камням и металлам, которыми так расточительно был украшен храм и находящиеся в нем люди. Под куполом горели тысячи лампад, висевших на длинных цепях из ковanej бронзы, которые освещали золотые мозаики стен и отполированные мраморные полы. Дневной свет, проходящий сквозь многочисленные окна, расположенные на огромном куполе был неземным. Свет просачивался сквозь люнеты полукуполов, заливал корабль церкви тонкими рассеянным золотым туманом, и, казалось, что люди парят, словно находятся где-то в другом, лучшем мире.

Император, источающий аромат благовоний, неспешно прошелся по церкви и вошел через врата в алтарь. Там он поцеловал плащаницу и покадил ладаном большую золотую фигуру распятого Христа. Потом он передал в руки патриарха массивное серебряное кадило, на котором сияли кровью большие рубины, и сопровождаемый взглядами верующих, столпившихся в переполненной церкви, вошел в специально приготовленное для него помещение. Из него он вышел только раз, согласно установленному порядку – во время переноса на алтарную трапезу евхаристических даров, чтобы причаститься, а потом опять скрылся, слушая как собравшиеся подданные благословляют его, уверенные, что он является истинным представителем Бога на земле. Пока шла служба император завтракал в отдельных покоях с избранными сановниками и слушал божественное пение церковного хора. Когда после многих часов, наполненных звуками, ароматами и церковными гимнами, служба, которую сопровождало невиданное величие и неземные переживания, подошла к концу, Дандоло понял, что теперь ни одна литургия в его стране больше для него не будет выглядеть ни торжественной, ни возвышенной. Он увидел, что верный заветам Христа царь ромеев раздает священству, дьяконам и певчим золотые монеты, но особенно старается, чтобы золото дошло до нищих и калек. Согласно древним поверьям, на праздники перед церковью появлялся сам Христос, переодетый в нищего, так он искал и проверял, принято ли в царском доме его учение о сострадании бедным и уважается ли оно. А потом процессия двинулась вспять, во дворец, последовательно повторяя все действия и движения, и только тогда Дандоло допустили к императору.

Во дворце подготовили роскошный пир, на котором гости ели, как когда-то в палатах правителей Первого Рима, лежа на деревянных ложах, покрытых мягкими удобными тканями. Басилевс полулежал, опершись на локоть и вытянув тело, и пока он принимал еду из рук рабов, еду, с которой уже сняли пробу, Дандоло стоял на коленях, глядя в пол, покрытый хвоей, плющом, лавровыми листьями и лепестками роз, рассыпанными ради удовольствия избранных гостей. Посол, пребывая в положении покорного просителя, слушал архаичную латынь и с переменчивым успехом узнавал слова, значение которых в западной речи либо исчезло, либо изменилось.

Пытаясь перевести слова императора, Дандоло видел не его, он, не смея поднять глаз, разговаривал с необычайно красивым мозаичным изображением римского орла, рвущего на части змею. Мозаика была сложена из бесчисленных разноцветных кусочков мрамора и наполовину прикрыта небрежно брошенными на нее благовонными растениями.

Православный император Востока говорил на давно мертвом языке Рима, на языке Октавиана Августа. Он презрительно подчеркнул превосходство Ромейского царства над варварской Европой, недостойной ни упоминания, ни внимания, виновной в грехе ухода от традиций и обычаев Первого Рима, дерзкой, невежественной и настолько неразумной, что она даже посмела какого-то то ли германского, то ли галльского дровосека, назвать царем. Ведь каждый знает, что существует один Бог, и поэтому есть только один царь – в Константиновом граде. И каждый знает, что Папа Римский не может быть первым среди христиан и об этом не

может судить никто, кроме единственного законного правителя и наследника Рима – ромейского императора.

Посол Венеции старался скрыть зависть, ненависть и давнюю решимость отомстить, решимость победить и уничтожить царство, где его уже второй раз ставили на колени. Тем не менее, он смиренно, без видимой досады или угрозы изложил свои просьбы императору. От базилевса же получил неопределенный, но не совсем отрицательный ответ. Таким образом, империя еще раз возобновила торговые отношения с венецианцами, а Дандоло окончательно убедился в том, что Средиземное море очень мало и его очень сложно делить между Греческим царством и Венецианской республикой. Торговля возобновилась, но восточное царство, само того не понимая, получило терпеливого жестокого врага, готового, не щадя ни сил, ни времени, делать все, чтобы сломить и поработить заносчивых греков. Дандоло хитро и расчетливо плел свою паучью сеть, мечтая о дне расплаты и победы. Он появлялся там, где никто не ожидал его увидеть, искал и легко находил союзников по ненависти к все еще могущественной, но весьма истощенной империи, которую разъедали слабость и чрезмерно долгая жизнь в сытости и довольстве, а еще бюрократия, взятки и самолюбование.

Идея отомстить надменным грекам стала главной занозой Энрико Дандоло: он, упорно трудившийся над процветанием своего города-острова, ни на минуту не забывал о своих врагах. За все плохое, что случалось он винил империю и ее правителей. Он не стеснялся, распространял ложные слухи, обвиняя императора в том, что тот, поправ закон, обычаи и дипломатическую неприкосновенность, вероломно и жестоко мучил, а затем и ослепил его. Хотя причиной потери зрения были не предательство и заговор, а банальный удар головой, когда он, немощный старик, неуклюже и беспомощно ступая, упал, поскользнувшись упал на крутых влажных ступенях. Потерянное зрение и холодная тьма, от которой не было спасения, не мешали ему и далее оставаться одним из богатых и могущественных правителей мира. И отсутствие зрения не помешало ему под конец жизни занять то место, к которому он так стремился всю жизнь: в 1192 году он стал дожем Венеции и теперь в его руках было все необходимое для исполнения давно желаемой мести.

Дандоло стал искать способ, чтобы собрать армию, которая была бы достаточно большой и достаточной способной, чтобы помочь ему установить владычество над Царьградом. И Бог, именно Бог, он был в этом уверен, поскольку был уверен, что Бог знает насколько его желание праведно, помог ему: в это время Папа Римский собирал крестоносцев для войны на Востоке. Ухватившись за шанс, Дандоло откликнулся на призыв Папы и решительно поддержал Четвертый крестовый поход. В самом сердце Венеции, во время воскресной службы в Соборе Святого Марка, который был, что уж таить, был даром ромейского царства и его мастеров православному городу на воде, поэтому и построен в виде греческого креста, дож поднял деревянный крест – символ согласия с целями похода.

Своим жестом он разбудил в своих согражданах, более привыкших торговле и мореходству, но не к далеким религиозным походам во имя чего-то непонятного, несвойственный им боевой дух. И пока он, в длинной белой покаянной рубахе, поднимал слабыми, опухшими от артрита руками распяты, вся Европа спрашивала себя: откуда вдруг в этой старой хитрой лисе такое христианское рвение, не свойственное тому, который всю жизнь умел только копить и торговать, а не воевать и захватывать. А он, слепой старик, венецианский дож радовался войне как дитя, радовался войне и армии, которой не нужно было даже платить. Он, который десятилетиями ломал голову как отомстить, который десятилетиями ковал мудреные планы и раскидывал паутину, заключая тайные договоры, значение которых никто, кроме самого Энрико Дандоло, не мог понять, а результат – предвидеть, был уверен, что его время, наконец, пришло.

Ныне, расположившись во дворце ромейских императоров, Дандоло наслаждался победой, вкушая ее настолько, насколько позволяло ему его большое дряхлое тело. Его телу победа досталась слишком поздно, но бодрому, неукротимому духу, готовому к ожиданию и жертвам,

она досталась вовремя. Она поставила, нет не точку, а восклицательный победный знак, закончив цепь многолетних интриг и заговоров. Именно этой победой наградил его Бог за терпение.

Латинский правитель Влахерона, сидящий в тишине огромного помещения, заполненного книгами и предметами искусства из золота, слоновой кости и серебра, был почти счастлив. Энрико Дандоло много лет не чувствовал того, что другие обозначали этим странным и слишком много значительным, но слишком мало понятным словом, но сейчас он был совсем близок к тому, чтобы назвать себя счастливым. В камине горел огонь и большое стариковское тело, укутанное в нежное покрывало, наконец-то согрелось. Дандоло дал знак слугам, что они могут идти. Хорошо вышколенные слуги, привыкшие следить за каждым жестом дожа и угадывать любое его желание и настроение покинули комнату, закрыв за собой двери. Они расположились в внешней стороны дверей, чтобы, если понадобится, в момент явиться на зов слепого требовательного их хозяина и удовлетворить любое его желание. Слуг дож выбирал сам, и они годами преданно ему служили, следуя за ним, куда бы он ни направлялся. Это давало им не просто щедрое содержание, но уважение. Их авторитет был настолько велик, что никто не мог, ни хитростью, ни подкупом, получить от них хоть какую-то информацию, хоть какой-то ответ на вопрос, который всех в Европе – и Папу Иннокентия III, и предводителей похода на Восток – так волновал: почему же все-таки Дандоло присоединился к крестоносцам? Они бы еще понимали, если бы можно было предположить, что только из-за денег, но ведь не только... Так и гадали, не в состоянии до конца понять его.

У крестоносцев были и пехота, и кони, и боевые вооруженные рыцари, имена которых перечислялись в книгах аристократов европейских королевских дворов, но у них не было ни кораблей, ни людей, которые бы могли переправить их через море к берегам Египта – именно там должна была начаться, а вернее, продолжиться, Святая война: война, которая должна была длиться до полной победы из окончится в освобожденном Иерусалиме, на Гробе Господнем. За разумную цену в 85 000 золотых марок, крестоносцы будут обеспечены питанием и доставлены в Святую землю – пообещал дож, держа лицо в тени и оправдывая это слепотой и нежеланием смущать собеседников белыми зеницами пустых старческих глазниц. У крестоносцев не было таких денег.

Грубые честолюбивые бароны были больше склонны к грабежам, междоусобной вражде, рыцарским турнирам и войнам, чем к торговле. Их богатств, награбленных или наследных, для великого похода было недостаточно. О том, что у крестоносцев нет средств, венецианский дож знал задолго до того, как к нему обратились Бонифаций I Монферратский и Балдуин IX Фландрский. Они безапелляционно потребовали отложить договоренную выплату и не задерживать передачу кораблей армии крестоносцев, которая уже прибыла на побережье Венеции. Предводители похода считали, что этого требования достаточно, чтобы заставить слепого старика отступить и простить им недостающие 35 000 золотых марок. А он – сделал вид, что да – достаточно. Он все устроил, чтобы никто не сомневался в том, что угрозы сломили волю старика.

Венецианский флот доставил находящихся в прекрасном расположении духа крестоносцев на соседний остров Святого Николая и высадил их там под каким-то предлогом. Некоторое время венецианцы снабжали армию крестоносцев едой, напитками и дровами, поддерживая в них это чувство праздника. Но в одно прекрасное утро корабли не появились. Голодные крестоносцы почували беду – костры не горели, а полевые казаны были пусты. Ни на следующий день, ни потом никто так и не появился.

Остров окружало море – безбрежное и холодное, и крестоносцы, как все люди, склонные к внезапным переменам настроения и крутым решениям, впали в отчаянье и начали обвинять друг друга за плачевное состояние, в котором они находились. Наконец, терпеть уже было невмоготу и их представители, голодные и замерзшие, появились перед Дандоло. На этот раз говорили они тихо и примирительно – они понимали, что их обвели вокруг пальца, и смиренно

попросили дожа простить их. Столкнувшись с голой правдой, они поняли, что без венецианцев и их флота им никуда не добраться.

Избавленные от напыщенного чувства ложного превосходства и переполненные новым для них чувством уважения к венецианцам, которых ранее презирали, крестоносцы были готовы слушаться старика. Но сначала они хотели есть и пить, и еще – хотели согреться, и совсем не желали вспоминать о том, что их заставило отправиться в столь далекий и путь.

– Корабли вы получите, а долг будет забыт, но только после того как войска крестоносцев войдут в хорошо укрепленный город Задар на берегу Адриатического моря, – сказал старик и поднял голову, прислушиваясь к реакции собеседников.

Некоторые предводители отказались поднимать оружие на христианский и католический город, к тому же являющийся владением венгерского короля Имре – союзника Папы в их походе, но большая часть военачальников быстро согласилась с предложением дожа. Так армия Четвертого крестового похода прошла проверку на военную силу и слаженность действий, но, прежде всего – на послушность.

Жители и стража города тщетно попытались защитить себя хоругвями с крестом и монограммой Христа, которые они подняли на крепостных стенах, надеясь, что войска Христа не пойдут на христианский град. Но ни одна армия не является Божьим войском, и ни один город не является Божьим городом. Город – это люди. Город грабят, а людей убивают – без лишних вопросов, без раскаяния и страха. И хотя 11 ноября 1202 года войска крестоносцев пошли на город без воодушевления, они одержали победу.

15 ноября довольные крестоносцы грабили город и делили добычу и их сомнения и беспокойство исчезли без следа. Тем не менее, обещанная цель похода и далее привлекала и манила вооруженных паломников. Недовольные крики пьяных крестоносцев все чаще прерывали совещания предводителей, проходившие в шатрах, в зимнем лагере, разбитом на перед стенами занятого города.

На крепостных стенах реяли стяги Венецианской республики, а венецианские торговцы и моряки составляли списки товаров на городских складах и поставляли в город чиновников и судей, которые должны были служить новой власти. Появились слухи, что Папа Иннокентий III очень разгневан из-за того, что крестоносцы вместо того, чтобы идти на мусульман, занимают христианские города – именно те, которые прилежно и регулярно дают души и жертвования во благо Папского Престола. Вскоре после этого было объявлено и почти сразу подтверждено, что вся армия вместе с предводителями и Дандоло была отлучена от Святого Престола и не будет допущена к святым тайнам и причастию. Говорили, что Святой Отец настолько зол, что собирает новую армию и уже готов к кровавой расправе над непослушными крестоносцами и Энрико Дандоло.

Смятение и беспокойство, подпитанные разговорами и слухами, проникли в ряды крестоносцев. Святая война началась не так, как предполагалось, а знаки креста на одежде, доспехах и оружии больше им не принадлежали – их душам грозили муки ада. Об адских муках можно было пока не думать, так как точно о них ничего не было известно и наступали они не сразу, но вот угроза столкновения с великой военной силой, которая под теми же папскими знаменами, что развивались сейчас над Задаром, может пойти теперь на них, ужасала и заставляла трепетать.

Предводители крестоносцев совещались с дожем и искали способ исправить и изменить неприятный и нежелательный ход событий. Те, что были слабее и ниже статусом, предлагали вернуть Задар венграм и как можно быстрее договориться и помириться с Папой. Они предупреждали, что от бездействия и застоя в рядах армии начались волнения, что в лагере миссионерствуют монахи, верные Риму, которые подстрекают крестоносцев на бунт, пугая их адским огнем, и только вопрос времени – когда же сбитые с толку солдаты восстанут против своих вождей и поднимут на них оружие. Так говорили мелкие дворяне, которые были недовольны

потерей времени, боялись за свои имения, оставленные без присмотра и защиты, и опасались, что соседи воспользуются возможностью ограбить и присвоить владения тех, кто проклят Церковью. Более могущественные знатные аристократы склонялись в сторону Дандоло, его флота и дукатов, и не хотели признавать поражение. Они предлагали повесить самых громких бунтовщиков, а остальным пообещать новую добычу и более высокие платы.

В просторном, хорошо охраняемом шатре, над которым вопреки папскому запрету развивался белый стяг с крестом, было шумно – люди без доспехов, закутанные в шубы и теплые мантии, говорили громко, то и дело перебивая друг друга. Огонь, горящий в полевых жаровнях, гас от порывов сильного ветра, дувшего с моря, и пахам в жилетах с гербами своих хозяев приходилось часто подкидывать уголь. Энрико Дандоло, которого, казалось, не интересовала шумная дискуссия, которая все дальше уходила от главного повода, из-за которого и была затеяна, грел озябшие, сухие ладони и подавал слугам знаки, чтобы те быстрее разливали сладкие и ароматные кипрские вина, распалюющие страсть и мутящие разум.

– Господа христиане, это простое недоразумение. Мы не должны тратить на него свое время и истощать себя дискуссиями, которые могли бы привести нас к конфликтам и гибели. – произнес старик ясным и рассудительным тоном, который совсем не вязался с его немощной внешностью.

– Высокая цель остается, а милостивый Святой Отец пересмотрит свое решение, принятое им из-за плохих и коварных советников, неприятелей веры и священного дела, которому мы клятвенно преданы, – говорил старик, лицо которого было скрыто под мягким теплым капюшоном, отороченным светлым мехом. Пока он говорил, его длинная, редкая и совсем седая борода, падающая на впалую грудь, двигалась в такт словам, скрывая челюсть, где давно уже не осталось здоровых зубов, а лишь кривые обломки, какие бывают у детей-уродов и идиотов.

– Прежде чем мы, к ужасу безбожников, высадимся на берега Святой земли, мы должны выполнить еще одну задачу, – продолжил Дандоло, – отсюда мы отправимся в Царьград.

Тишина, сопровождавшая слова дожа, сменилась громкими и веселыми криками, в которых, как это ни странно, не было удивления. Ободренные спокойствием старика и его уверенным тоном, за которыми могло стоять правильное продуманное решение, возбужденные большим количеством выпитого без воды и закуски красного вина, крестоносцы громко радовались, еще не успев ни даже спросить себя, а зачем они идут в Царьград и почему вдруг изменилась цель их похода? Воспользовавшись всеобщим воодушевлением, Дандоло продолжил убеждать воинов, уверенный в том, что кто-нибудь из них рано или поздно потребует объяснения.

– Здесь, среди нас, находится человек, с которым поступили очень несправедливо. Наш путь – это борьба со злом, и для Бога нет более удобного дела, чем защита слабых и пострадавших за правду. Мои слова слабы и могут вам показаться неискренними и неубедительными, поэтому я прошу разрешить, чтобы к этому уважаемому собранию аристократов обратился мой друг – христианская душа, находящаяся сейчас в бедственном положении. Это Алексей – настоящий наследник Ромейского царства, сын вероломно свергнутого, ослепленного братской рукой и брошенного в тюрьму Исаака II Ангела, законного греческого царя.

Пока Дандоло говорил о судьбе свергнутого и искалеченного правителя и произносил его имя, он сдвинул с лица капюшон и открыл мутным взглядам крестоносцев свои слепые глаза, показывая на себе, какая страшная судьба была у Исаака. Большая часть рыцарей впервые видела лицо и темные уродливые глазницы Энрико Дандоло. Это сморщенное старческое лицо нездорового серого цвета, отмеченное долгой слепотой, имело выражение стойкости и было лицом человека, который с помощью воли возместил то, что не было дано его телу. По его чертам нельзя было определить, как дож выглядел до того, как старость, слепота и долгая жизнь вытравили из него все человеческое и живое. Это, скорее, была маска, а не лицо, маска

горьких воспоминаний. Но тем не менее, дож, с беззубым ртом и редкой бородой, слепыми глазами, слабый и почти неподвижный, управлял вниманием и волей крепких и грубых, хорошо вооруженных людей, собравшихся в шатре.

После того как дож произнес последнее слово, слуги приподняли полотняную дверь и в шатер вошел Алексей Ангел, сын и наследник свергнутого ромейского императора Исаака II. Это был смуглый мужчина средних лет, с аккуратно подстриженной темной бородой, с черными жгучими волосами, уже редкими на висках, державшийся неестественно прямо. На чистом и высоком его челе сияла золотая диадема с идеально круглой жемчужиной, также, как и чело гладкой и чистой. Его большие, глубокие черные глаза с беспокойным и неуверенным взглядом выдавали в нем человека, познавшего, что такое унижение и страх, к которым его не готовили в парках и дворах царского дворца во времена безоблачного детства. Он был одет по ромейским обычаям в длинное пурпурное платье и пурпурную мантию, переброшенную через руку. Одежда ему шла, подчеркивала его изысканность и достоинство и в ней он казался выше и тоньше.

Алексей долго и безрезультатно ездил по европейским королевским дворам, умоляя могущественных и равнодушных правителей Запада вернуть ему престол. Будучи перебежчиком и изгнанником без наследства и отечества, он истратил и распродал те небольшие средства и украшения, которые смог взять с собой, когда бежал. А оставшись без золота, он потерял и остатки величия.

Жил он бедно, без всякой уверенности в завтрашнем дне, зависел от чужой милости и внимания. Его показывали любопытным европейским аристократам и их гостям не как принца в бедственном положении, а как редкую экзотичную зверюшку. Длительное изгнание его изменило – он стал коварным, любящим выпить человеком, который в вине пытался утопить горечь, досаду и жалость к себе. Поскольку у него не было дорогой одежды, в которой он мог бы появиться перед родовитыми крестоносцами, Дандоло, готовя его к встрече с баронами, приказал портным сшить ему платье, которое напоминало бы о его высоком происхождении и потерянной власти. На наследнике были роскошные богатые украшения, позаимствованные из венецианских ризниц, золотой пояс, расшитый рубинами, а на поясе – кинжал в перламутровых ножнах, больше похожий на украшение, чем на оружие.

Алексей учтиво поклонился удивленным крестоносцам, впечатленных его появлением и поведением, которое говорило о врожденной и приобретенной уверенности. Глядя на этого человека, который необычно выглядел и держался, грубые крестоносцы понимали, как должен выглядеть ромейский император, легендарное существо – другое, более ценное, чем остальные люди. Наследник ромейского престола узнал Бонифация Монферратского, единственного из предводителей крестоносцев, кто был немного посвящен в намерения и планы Дандоло: дож относился к нему с каким-то отцовским чувством симпатии и снисходительности. Он подошел к нему, как к старому приятелю, и опустил свою бледную нежную руку принца, рожденного в пурпуре, на плечо латинянина, одетого в мягкую, хорошо скроенную шубу, украшенную голубыми и красными лентами.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.